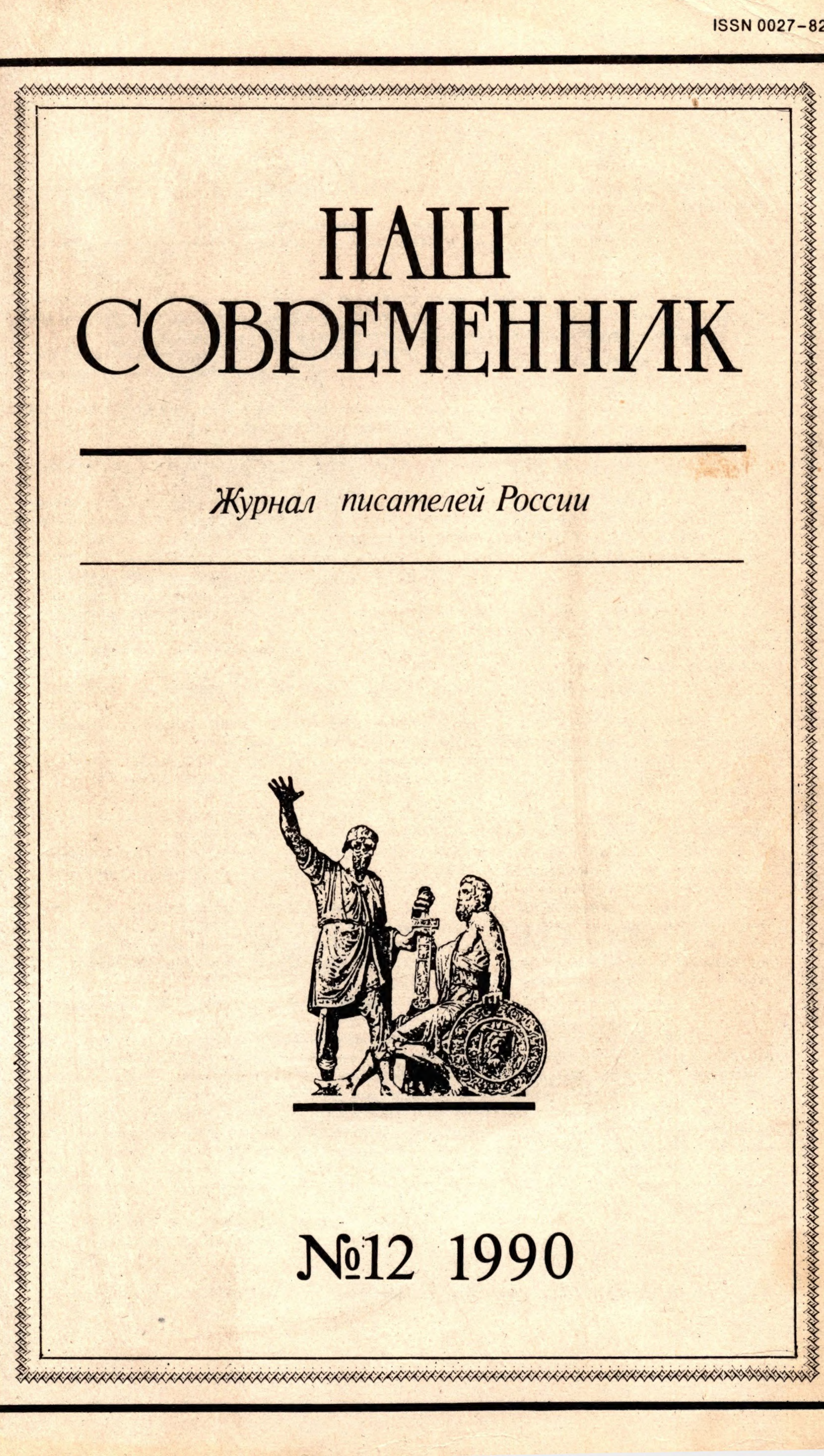
ISSN 0027-8238



НАШ СОВРЕМЕННИК

Журнал писателей России

№12 1990

ГОВОРИТ РОССИЯ

Продолжаем публикацию откликов на Письмо писателей, деятелей культуры и науки России, опубликованное в № 4 нашего журнала

„Позиция авторов Письма благородна, а публикация его — это мощный прорыв в глубину народного сознания.

Есть, есть в нашем народе здоровые силы, честная интеллигенция.

Семья ЕФАНОВЫХ, пять человек, Калининградская область".

„Нам, РУССКОМУ НАРОДУ, давно следовало бы занять свое место в России! Мы любим свою Родину, свое Отечество. Гордимся прошлым, настоящим России и все сделаем для того, чтобы наши дети и внуки гордились будущим России и Русского Народа!

СЫЧЕВ, ПРОХОРОВА, СТАРОСТИНА и др., всего 63 подписи, ПО „Бином", г.Саратов".

„Пора наконец громко и решительно заявить протест наглой кампании, развернутой в прессе, недвусмысленно дать понять всем любителям подтасовок и передергиваний: нет, дорогие товарищи, жив еще русский народ и не вам его погубить!

МЕЖЕВИНИНА Ю., ЩУКО Н. и др., всего 7 подписей, г.Красноярск".

„Факт публикации делает честь журналу, является его большой заслугой, так как наконец-то всесторонне и объективно в печати показаны плачевные последствия многолетней, массированной и целенаправленной деятельности разгулявшегося в России сионизма, проповедующего расовую и национальную исключительность просионистски настроенных лиц.

НИКИТИН В.С., профессор, участник ВОВ, г.Москва".

„Спасибо русскому народу за его долготерпение, за то, что он не отвечает действиями ни на оскорбления, ни на многочисленные провокационные заявления желтой советской и иностранной прессы, органов информации о готовящихся якобы погромах. Но и молча переносить их издевательства становится невозможно.

КАРАСЕВ А.Н., КАРАСЕВА М.Г., научные работники, г.Ленинград".

„Разделяем с вами боль и тревогу за судьбу нашего Отечества. С гордостью присоединяем свои подписи и считаем себя тем удостоенными этой большой чести.

Граждане России, потомки славного казачества Кубани: ЕРМАКОВ, АРТЮХОВ, ОЩЕПКОВ и др., всего 117 подписей, г.Черкесск Ставропольского края".

„Я полностью разделяю боль, возмущение и решимость покончить с тем кабальным положением, в котором оказался русский человек на своей исконной земле.

ЦТ и центральная крупнотиражная пресса отравляют, „денатурируют" общественное сознание русского народа, вдалбливают в головы и души противоестественные и самоуничтожительные модели поведения.

О качестве „информации" можно судить по тому примечательному факту, что наиболее „информированное" население столиц /Москвы и Ленинграда/ оказалось и наиболее одураненным, о чем свидетельствуют результаты выборов народных депутатов. Целенаправленно организованная „информация" способна превращать людей в жалкое стадо, лишать их даже биологического инстинкта самосохранения.

САМОЙЛОВ В. Н., рабочий, г. Ростов-на-Дону".

„Нападкам подвергаются любые попытки, направленные на возрождение России и ее народов. Когда-то противники русской культуры — так называемые „либералы" травили Достоевского, Некрасова, Чехова, а затем Есенина и всех крестьянских поэтов. Захватив власть, „лево-правые" уничтожали русскую интеллигенцию, духовенство, взрывали храмы, уничтожали крестьянство. Нынешние последователи террористов 20-х годов травят лучших русских писателей, огульно обвиняют всех защитников Родины, обливают грязью целый народ и его культуру. Поэтому нужно сорвать маски „демократов" и „плюралистов" с экстремистов, которым наплевать на интересы и заботы народа. По своей сути и по своим целям это реакционные „правые" силы, несущие расизм, террор, разрушение и осквернение здоровых основ народа, разрушение его вековой культуры и традиций.

Общество „Отечество": ЗЕНИН В., ПОЧТАРЕВ Г., СИДОРОВ С. и др., всего 49 подписей, г.Протвино Московской области".

В настоящее время в поддержку Письма поступило более 7 000 откликов.

НАШ СОВРЕМЕННИК



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
РСФСР

№12 1990

ИПО
«ЛИТЕРАТУРНАЯ
ГАЗЕТА»
МОСКВА

Содержание

И. о. ответственного секретаря **З. С. Гуляевская**

Технический редактор **Л. Л. Ежова.** Корректоры **М. И. Кононова, Л. Н. Тихонова**

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30. Телефоны: 200-24-24 (главный редактор), 200-24-83, 200-24-94 (заместители главного редактора), 921-43-59 (ответственный секретарь), 921-48-71, 200-23-05 (отдел прозы), 200-23-07 (отдел поэзии), 200-24-28 (отдел очерка и публицистики), 200-24-70 (отдел критики), 928-32--16 (международный отдел), 200-24-76 (технический редактор), 200-23-54 (корректоры), 200-24-12 (зав. редакцией) 200-24-76 (отдел писем).

Сдано в набор 12.09.90 г. Подписано к печати 26.12.90 г.
Формат 70×108 1/16. Бумага типографская № 2. Печать высокая
Усл. печ. л. 16,8. Усл кр.-отт. 17,24. Уч.-изд. л. 21,97 Тираж 488 800 экз Заказ 2275

ИПО «Литературная газета», 103750, Москва, Цветной бульвар, 30.
Ордена «Знак Почета» типография «Красная звезда»,
123826, Москва, Хорошевское шоссе, 38



АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

КРАСНОЕ КОЛЕСО

ПОВЕСТВОВАНЬЕ В ОТМЕРЕННЫХ СРОКАХ

Узел II
ОКТЯБРЬ ШЕСТНАДЦАТОГО

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
РЕВОЛЮЦИЯ

66

Могилёв напоминал огромную офицерскую гостиницу: всё время прибывали, убывали. Полковники и генералы, приехавшие с фронта, могли рассчитывать быть приглашёнными и к высочайшему завтраку или обеду — но для этого надо было заявиться, а потом ждать. Такой цели, однако, и такого желания у Воротынцева не было.

Издали видел он, как Государь перед своим домом делал смотр терской конвойной сотне, воротившейся с фронта, довольно и этого погляденья.

В офицерской столовой при Ставке многие не успевали узнать друг друга, приезжали накоротко по служебным предписаниям, уезжали, состав обновлялся от завтрака к обеду и к ужину, и за столиками сочетались всё поновy. А между тем наблюдатель, сторонний духу этих людей, даже не догадался бы, что они вовсе не сознакомлены хорошо, что они не служат вместе годами. И всегда свойственная кадровым офицерам (а прапорщики не попадали сюда) взаимообязанность, так выраженная в общности формы, поведения, отдачи чести, сильно углубилась войной, уже о третьем годе, смягчились прежние мелочные разногласия между гвардией и армией, родами войск, училищами, полками; напротив: между любыми двумя офицерами-фронтовиками, оказавшимися рядом, проявлялись дружелюбие, сочувствие, даже забота, как между старыми однополчанами, — особая дружественность, когда нет обязательных служебных отношений. Одно общее все отведали, одно общее всех ждало, сегодня полковник, а завтра покойник. И если кто-то мог другому посоветовать, объяснить, помочь,

Окончание. Начало в №№ 1—11 за 1990 г.

облегчить, — каждый спешил это сделать по некоему высше-семейственному чувству. Их, таких, за годы войны поредело втрое и вчетверо, а долг и задача разлагались по плечам, по погонным прямоугольникам оставшихся.

Так и усевшиеся за столик с Воротынцевым завтракать капитан, подполковник и пожилой сапёрный полковник с тяжеловесной головой, друг друга не знали — и знали хорошо. Ни фамилий, ни частей своих ещё не назвали, а, едва усевшись, держались знакомо, приязненно.

И Воротынцев с удовольствием принял этот тон, после короткой поездки и небывалых встреч опять переводивший его через свой порог — в армию, в полк, в невылазное и привычное фронтовое бытьё. Принял и перебегающий разговор: подполковник и капитан поругивали столовую и порядки в Ставке, и само расположение её, и офицерскую гостиницу, но всё это в шутку, взамен выдвигая преимущества жизни в землянках. У подполковника с золотым зубом из-под дерзких губ особенно легко, забавно получалось. Он уверял, что если уцелеет, то в городе уже всё равно не сможет жить, а построит на окраине блиндаж с хорошим обзором и ещё на дерево будет лазить смотреть.

А вот и анекдот. Пленный немецкий офицер сказал: «Вы, русские, утверждаете, что вы не готовились к войне. Но как же бы вы в такое короткое время могли сделать свои дороги столь непригодными? Ясно, что вы испортили их заранее.»

Воротынцев подумал: как странно, что за всё путешествие по столицам нигде не пришлось ему посмеяться легко. И какое ж это спасительное людское свойство, что чем хуже живётся, тем легче открывается человек смеху: совсем не смешное, а разбирает.

Коснулось могилёвских дам, местных и беженок, и золотозубый подполковник с жёлто-белыми усами балагурил:

— Был я когда-то молодым в гусарах, и то успехом таким не пользовался, как сейчас эти *земгусары*. Дамы расчётливые стали: этих не убьют, и оклады высокие, и форма защитная почти военная, ремни и портупеи навешаны гуще нашего. А как только Милюкова поставят военным министром, так нас уволят всех, а их — вместо нас, и будет армия вигов.

Сапёр, не принимая смешливого тона младших, качал головой мрачно:

— Вакханалия дармоедства на государственный счёт. Приезжают с тысячами командировок, втираются в доверие фронта и везде разъясняют, что правительство никуда не годится, это во время войны! Почти поголовно левые и много евреев. А — в уездах, в губерниях как распоряжаются! Делают власть ненужной, и всё.

— Ловчат от мобилизации, — оценил капитан. — Ферты самой здоровой комплекции, если так любят Россию и победу, лучше б уплатили *налог крови*.

— А ещё — Красный Крест, нейтральная держава. Развели этих частных госпиталей только для разложения солдат. Нянчатся с ними, одевают в полотняное бельё, кормят изысканной пищей, нежат их там разные барыньки, а кто-то и брошюрки подсовывает. А потом — лезь в окоп, воюй, — не хочу!

— В Москве чуть не на каждом четвёртом доме флаг Красного Креста, — вспомнил Воротынцев, — Тысячи частных маленьких лазаретов, а врачи штатские, и никакого там армейского контроля.

Чего ни коснись, наворочено к третьему году войны, как теперь из этого выходить? Искусство надо.

— А ещё беженские комитеты по всей России! — вспоминали. — И тоже там призывной возраст сидит. А хорошее бы место для женского равноправия.

— Это и с беженцами, — заявил золотой зуб. — Взялось бы заве-

дывать ими правительство, и умерла бы одна девочка, — все газеты подняли бы вопль, и портреты этой девочки перед смертью и раньше, с мамой и с братьями, в пол-листа и в целый лист, переполнили бы прессу. А заведуют беженцами общественные комитеты, и умрёт две тысячи человек — будут писать и говорить: как мало! это — при миллионах беженцев!

Тут разговор расширился. Со столика через один послышалось громкое, и все стали оборачиваться туда. Там и не скрывались. Интендантский подполковник в пенсне, немного гундосый, со смачным удовольствием объявлял, что час назад разговаривал по телефону с Петроградом и ему сообщили: газеты вышли с белыми пятнами, во всех думских речах большие пропуски, о смысле можно догадываться только по оборванной связи. Но кто вчера был на хорах в Думе — потрясены речами, особенно милюковской.

— Такой исторической речи ещё не слышали четыре Государственных Думы! Он сказал что-то небывалое, сорвал все завесы!

Какие завесы? Не представить. Но тяжело ложилось на сознание: *сорвал все завесы!*

Батюшки, мы пока тут что — а там события шагают!

— Ничего, земгор постарается, теперь заработают пишущие машинки и ротаторы, все запрещённые речи будут и у нас, в армии, даже литографскими листками.

Кто дальше сидел — переспрашивали, и быстро передалось от столика к столику, уже гулом, разноречивым. Кто-то воскликнул, нарочито-громко, для многих:

— Отрадно, что есть в России трибуна, где за тебя скажут!

Чем меньше ясности, тем больше предположений. Угадывали: что б такое мог Милюков сказать?

— А Шингарёв не выступал, не знаете? — не удержался Воротынцев спросить противного интенданта. Стал ему Шингарёв совсем как свой.

— И что теперь будет? — спрашивали. — Разгонят Думу?

— Да никто никого не разгонит. Правительство утрётся, и так же останется на месте.

Сапёрный же полковник мало голову крутил на всё это оживление. Тут, над столиком, бурчал по-домашнему:

— Я не знаю, господа, как можно значение придавать, кто там с трибуны пукает, Милюков или Родичев. Вы спросите, они хоть одно дело настоящее знают? Я не говорю — сапёрное или артиллерийское, но вообще — заводское? горное? земледельческое? И куда ж они тогда лезут в ответственное министерство?

За соседним услышали, возмутились:

— Они никуда не *лезут*! Они выражают свободное мнение России!

Гудели многие, по-разному, но больше раздавалось в пользу Думы, как бы громче. Сапёр махнул безнадёжно:

— Нынешние министры хоть дерьмо, так служить умеют, приучены. А эти думские — только болтать. Поставьте завтра их Россию вести — они из клозета не будут вылезать.

Отзавтракали, расходились. Звенела столовая шпорами.

Снаружи стоял пасмурный, но тёплый день.

На крыше генералквартирмейстерской части торчал пулемёт в чехле, против аэропланов. И около него — часовой.

Воротынцев пошёл в оперативное отделение, на второй этаж, к Свечину. По приезде он видел его лишь бегло.

У Свечина был отдельный кабинет, обвешанный картами, обставленный папками, с тремя телефонами на столе.

— Да-а-а, — огляделся Воротынцев. — В Барановичах мы не так сидели: по три стола в халупной комнатёнке, и на всех один полевой телефон.

— Дело растёт, важнеет, — развалился Свечин в полумягком

скруглённом кресле. У себя на служебном месте не был он лихим башибузуком, как в петербургском ресторане в те несколько часов. — Впрочем, в Барановичах всю эту игру в вагоны и халупы ввёл Данилов. Можно было нам спокойно и в палатах жить.

Тоже и посетителю стояло кресло удобное, Воротынцев уселся.

— И кто ж это всё возглавит? Как с Головиным?

— Уже-е, пролетел наш Головин, не котируется.

— Так Рузский?

— До сих пор надеется. Но не выйдет.

— Так кто ж?

Улыбался Свечин, нечастой своей улыбкой, обнажая зубы непомерные, здоровые:

— Вообще-то, честно говоря, хотел бы его величество обойтись Пустовойтенкой. Чем не полководец? — почтительный, исполнительный, поперёк не скажет ни слова и об себе не возомнит. А инструкции? — ему Алексеев перед уходом на три месяца вперёд выпишет. Но так как его величество должен часто ездить в Царское Село — тогда что ж? Пустовойтенко уже и за Верховного останется? Это уж как-то не то.

Наружного пасмурного света не хватало, светилась настольная под зелёным матовым стеклом. Помягчевший Свечин набивал трубку и Воротынцеву другую протянул:

— Набей, хорошо.

— Так — кто же? — взял Воротынцев.

— Никогда не догадаешься, — черно поблескивал идол. — Отгадывай до трёх раз. Ищи из тех, на кого совсем, ну совсем подумать нельзя.

— Ты! — выпалил Воротынцев.

— Ты!! — перехватил Свечин. — Сказал Государь: «Эх, вот был у меня полковник Воротынцев, чуть самсоновского сражения не выиграл, вот бы я его назначил.» — «Так Ваше Величество, жив ведь!» — «Да ну? Где?» — «Вот, под Москвой где-то, штамп неразборчив.» А думаешь, я так легко мог бы тебе вызов послать?

В прошлый раз даже вспышка рассерженности была между ними, а сейчас — всё по-старому, устойчиво.

— Только на Николая Николаича не подумай. Хотя едет.

— Сю-да?? Это — первый раз со снятия?

— У-гм. Исторический момент. Хотел приехать к шестому — его день рождения и праздник царскосельских гусар, дядя ими командовал, племянник тоже служил, оба любят мундиры надевать. В общем, хотел дядя мириться или вдвоём без Алисы поговорить. Но — не разрешено. Велено ему приехать — после праздника, на другой день.

— Да в общем, да в общем, — покрутил головой Воротынцев. — Что ж — дядя? Пустомеля тот дядя. Один парад.

А Свечин это раньше него говорил. Теперь требовал:

— Ну, что-нибудь невозможное придумай! Ну, глупость скажи, но отгадай!

И смотрел со значением. Воротынцева как толкнуло, брякнул:

— Крымов?!

Свечин оскалился, широкозубый. Погрозил крупным пальцем:

— Ещё не забыл, не выкинул? Мне под конец показалось — ты образумился, не спутаешься.

Воротынцев даже и сейчас покраснел, перечувствуя тот стыд:

— Да у меня действительно в тот раз сложилось... Но были и другие соображения, не думай... Да собственно я и не полностью отказался от мысли...

— Ну и дурак, если так, — вывернул крупную губу Свечин. — А я за тебя порадовался, думал — ты хорошую отговорку нашёл.

— Какая же хорошая? Срам. Но не только...

Свечин надвинулся через стол:

—А что в их перевороте хорошего, Егор? И посыпется, и посыпется... Им, гучковистам и этому Жёлтому блоку, сейчас самое трудное кажется — как сшибить. Нет, вы мне покажите, кем и чем вы замените. Если худшими или неизвестно какими, так лучше не сшибать, крутится — и крутится. Из дома Романовых — ну скажи, кому заменять? Мальчик? Игрушка будет у регентского совета. Да и слабый, неразвитый, ну что это — в двенадцать лет обливает генералов водой? Портят его общими усилиями. Михаил Алексаныч? Полковник ниже среднего, куда ниже нас с тобой. Николай Николаич? Уже сказали. Владимировичи? Тот пыжится, тот кутила. Константиновичи? Пускай стихи пишут. И выходит — республика? кадетское правительство? Да надо себя не уважать, чтобы под ними остаться. Чтобы под них Россию отдать.

Это всё было верно. Но не Воротынцева была и задача это всё наперёд решать.

— А Гучков — регентом? — жёг чернотой Свечин. — Или премьер-министром?

— Он — не стремится. Помнишь, сказал насчёт провиденциального...

— Сказа-ал! Ещё как ли искренно? Не допускаю, чтоб совсем не... Такую штуку затевать — и не прозревать себе долю власти? Уж коли с таким делом спутаешься — так непременно и стремишься. А ты бы — не стремился? Сразу в сторону отошёл бы?

Воротынцев мимолётно улыбнулся. Он нисколько не стремился, честно — нет! Он только хотел действовать для спасения России. Но, прийдись до дела — сразу пришлось бы как-то и устраивать. Верно.

Свечин засек улыбку:

— Ага!

— Да нет...

— А скажи, они все хором обвиняют правительство в неуважении к идее права, что права их будто попирают, — а сами лезут на государственный переворот — так что же остаётся от прав? А?

Воротынцев думал, непривыкши потягивая трубку.

— И мясоедовская смерть на Гучкове. И вся история какая гадкая, раздули чего не было — а зашлёпали всё императорское правительство.

— Да, — встрепенулся Воротынцев, — а в чём именно мясоедовское дело, по сути, было, ты знаешь?

— Хорошо знаю. Мне варшавский комендант рассказывал, при нём был суд. В 1912 году Гучков Мясоедова разоблачал — кукиш! ничего не доказал и доказывать было нечего, демагогия. Но в газетах прогремело, и осталось пятно, что шпион, прилипло. А в декабре Четырнадцатого является в генштаб такой сукин сын подпоручик Колаковский, 23-го полка, там у вас в самсоновской он попал в плен, а потом, чтобы вырваться, изобразил из себя малороссийского сепаратиста, нанялся к немцам мнимым шпионом, они его перепустили в Россию, а он тут саморазоблачается. И чтобы больше веры — придумал, что очень ему, новичку, хвалили немцы своего шпиона Мясоедова — только не знают ни адреса его, который в петербургской адресной книжке, ни — где он сейчас. А просто этот Колаковский из газет запомнил, сработало старое гучковское враньё. Ну, как полагается, бумажка на Мясоедова пошла на Северо-Западный фронт, а он там переводчиком в 10-й армии. И тут бы ещё ничего не было, никто серьёзно, но через месяц армия потеряла в Восточной Пруссии корпус. И волнение на всю Россию. А ещё есть, ты знаешь, такая сволочь Бонч-Бруевич.

— Ну как же!

Задница. В Академии три раза диссертацию защищал, три раза проваливался, поставили его на администрацию.

— Так вот, он придумал и Рузского подтолкнул на это третье

вторжение в Восточную Пруссию. Теперь надо было найти виноватого — и ухватился Бонч за шпиона-изменника. Схватили и поспешно судили в Варшавской крепости. Главный доносчик Колаковский даже не присутствовал на суде! Защиты тоже не было. Улик — ни одной, хотя два месяца был приставлен к Мясоедову секретарь-наблюдатель. Для верности дали и вторую казнь — за мародёрство: в немецком доме, мол, статуэтки подхватил. Начали судить утром, к вечеру приговор, не дали послать телеграмму Государю, даже не дали попрощаться с матерью, она была в Варшаве, — и через пять часов той же ночью повесили. Заметали след?

— Хо-го-о-о! — только мог протянуть Воротынцев. В таких случаях представляешь невинно-казнённым самого себя. Верещагинский сын! — И никто не остановил?

— Николай Николаич утвердил по телеграфу. А Бонч после этого стал начальником штаба армии, потом и фронта. А Гучков не только не отступился, но теперь-то и разжигал это дело, чтобы свалить Сухомлинова.

Если приближённый военного министра — шпион, тогда и министр шпион?.. А тогда — что́ царь?..

Да, вот и Гучков. Вот — и пути политики.

— А что там вообще за публика, вокруг Гучкова дальше? — наседал Свечин. — Может похуже его намного?

— Да, перекосили его кадеты. Теперешний Гучков — не прежний.

— А конспирация? — Свечин обдымливался из крупной трубки. Сизо колебалось. — Конспирация — смех один? Встречным поперечным в любом кабаке всё открывает.

— Ну, на нас он мог рассчитывать.

— И это который раз уже наверно? И что ж ты думаешь, про их заговор не знают? Да весь Петербург говорит, что Гучков готовит заговор. Да уж в департаменте полиции, наверно, сто донесений. Какой он заговорщик? Любое дело погубит. Просто власть у нас робкая, не знает, с какой стороны каждый столб обойти.

— Да, на деле — Гучков ни к чему ещё, видимо... Всё на словах. А сложностей может оказаться... хо-о!.. — Воротынцев отложил погасшую трубку. — Да и программа его странная какая-то. Со всем этим можно завести Россию и похуже, да.

— И что придумали — откуда революцию? Откуда она у них выперла, я не вижу. Эти общественные деятели сами накричали, сами себя и запугали. Россия у них всегда пропала, уже пропала, от самого Рюрика, вопрос решённый. Конечно, августейший больше всех и виноват, он их и распустил. Всё мечется, не приткнётся, никогда у него не хватало смелости потеснить их. Не дай бы Бог ему одной дивизией непосредственно командовать — так бы и замыкался и на пулемёты навёл. Как его лучшие любимчики и делают. Но это — и не его задача. А восседает на троне давно, и уже это хорошо. И слава Богу.

— Он — не дивизию, он — всю армию так и навёл, — полновесно настаивал Воротынцев.

— Да это тебя Румыния довела, тебе и мерещится. Ты просто пересидел на передовых.

— А пойди, там повоюй.

— Чего ради я пойду, ты — сюда иди! Вздор какой! Разваливают, скотины, военную власть во время войны во имя якобы победы.

Воротынцев — на локти и ближе к нему через стол:

— Да не победы! Андреич. Деятели, может, и пугают, не видя. Но кто *знает* — пугаться есть чего. Поди да посмотри, из этого кабинета не видно.

Никуда Свечин не собирался, прочно утвердился:

— Просто — мятеж у тебя в крови вечно бродит. Ты — изродный мятежник. Ну, а у тебя какая программа? *Задремать*? Как это реально можно сделать при сближенных боевых линиях?

Да нет, если честно — так дрёмой одной не спасёшься, конечно. Что у Кюба сразу не выговаривалось — здесь теперь, после всего уж сказанного... Очень тихо:

— Надо — выйти из этой войны совсем. Влипли не по разуму.

Сколько он проехал с этой мыслью, и уже бывала на кончике языка — а ведь так нигде и не выговорил, совсем это не просто произнести офицеру. А вот — уже как будто и поздно, и не место?

Растаращился Свечин, вот заорёт. Но тоже тихо, головы близко:

— Значит, всё-таки — се-па-ратный?

— А что остаётся?? Если грыжа через весь живот — как тянуть? Я тебе говорю: наш корень выбит. Упустили мы в Четырнадцатом уйти в нейтралитет — так хоть теперь.

— И чтоб у нас кусище оттяпали?

— Ни-ка-кого. Да немцы будут радёшеньки сдыхаться. Нашей земли у них почти нет, очистят. А Польшу? Так Польшу всё равно освобождать, пусть немцы и разбираются. А от мамалыжников мы сами уйдём.

Не зарычал Свечин ни о присяге, ни об измене, а:

— Да ты же военный человек, подумай! Садись сюда — и отлично увидишь. Да кроме вашей говённой Румынии мы уже второй год нигде не отступаем, что ты, не знаешь? Это земгор внушает, что война проиграна, но не тебе...

— Да не войну! Я тебе говорил: мы свой народ проиграли.

— Ригу — держим, плацдармы за Двиной! Двинск, Минск, и по самый Пинск — всё наше! Снабжение, снаряжение? Лучше, чем в любой месяц с Четырнадцатого года. Вот, для тебя одного: по трёхдюймовым сколько выстрелов мы израсходовали за всю войну — столько же имеем сейчас в запасе! Пулемётов Тульский завод выпускал семьсот в год — а сейчас тысячу в месяц! Трубок артиллерийских раньше — пятьдесят тысяч в месяц, сейчас — семьдесят тысяч в день! ТАОН — слышал?

—Нет. Да счёт единиц ещё ничего не...

— Тяжёлая Артиллерия Особого Назначения. Такую теперь громоздим до купы. И для неё — уже резерв боеприпасов. Упарт готовит на весенний прорыв. Такой силы мы ещё не проявляли, немцы ахнут. Тайна! Весеннее наступление будет грандиозное! На Балтийском флоте — Непенин, боевой. Как он и Колчак — таких молодых адмиралов во всей Европе нет. Весной 17-го Колчак хочет десант в Босфоре!

Движеньем руки сбок себя по настенной размашистой карте скользнул и по Чёрному морю.

Ну, этим Воротынцева как раз и не захватишь: Босфор отдайте сумасшедшим.

— А хоть бы и ничего у нас не было. Хоть бы и правда мы сейчас сложили лапки и задремали — и то бы войну выиграли. Вот на днях в Америке президента выберут, у него руки освободятся — смотри, как бы и он в войну не вступил, да ведь не за Германию же! Какой же дурак пойдёт на сепаратный мир, когда Германия уже носом хлюпает?

Отмахнулся, отмахнулся Воротынцев:

— Американская победа — не наша победа. Они, вон, нам денег на войну не давали. Нам — какая победа? Земли нам больше не нужно, нам народ надо выручать.

Да, разумеется, из штаба Верховного всё выглядит пободрей, даже и убедительно. Сидя тут, можно и поддаться этим аргументам. А спустись в окоп — а там плечи не прежние.

За эти три недели наговорено, наговорено было вокруг Воротынцева и им самим — а ясней не стало. Все мы вразнокос раскладываем сегодняшние события, предсказываем завтрашние, а истинный путь, как дело перейдёт, — один, да никто его не может разглядеть.

— Егорий, Егорий! Сколько раз я тебе говорил: чтобы делать

историю — не надо взбрыкивать, не надо из упряжки выбиваться. Норов у тебя несчастный. А где поставлен — там и тяни. И так идёт история.

Воротынцев смотрел на глыбно-уверенного приятеля. На блестящий металл телефонных рычагов. На свою погасшую недокуренную трубку. Постукивал по кресельному подлокотнику.

Вздохнул.

Зрело у него— и в окопе, и пешком, и на коне.

А за эти три недели как-то растеребилось.

Вспомнил:

—Да! Так кого ж назначат?

—Сдаёшься? — заухмылялся Свечин. — Не догадался? — И, смакуя, перемывал крупными руками: — Этого и нельзя догадаться. Это тоже клонится, брат, к тому, что мы войну никак не проигрываем. — И почти крикнул: — Гу́рку!

Так назвал изменённо-шутливо, забыто — Воротынцев не понял. Обомлел. Переспросил:

— Гур-ко? Василь Осича? Гу́рочку? Быть не может!?

И уже не усидишь. Вскочил! Стал бить себя, бить себя по груди той ладонью и этой, и по кабинету бегать:

—Да как же это могло стрястись? Да как же...?

—Вот так, — сиял Свечин. — Михаил Васильич настоял, представь. Половину того, что я против старика говорил, — беру назад. Государю, конечно, очень невместно принимать такого дикаря и грубияна, — чужой, не такой, будет правду лепить. Но уступает старику: лежит, 38 градусов. Ещё не подписан приказ, но всё к тому.

Уж это-то, правда, нарушало весь стиль анемичного императорского руководства. Не был назначен ни какой гвардейский остолоп, ни какой великий князь, обойдены все ласкатели, искатели, воспитатели собачек, рассказчики анекдотов, фавориты Царского, все дутые генерал-адъютанты, все самонадеянные седокурые старцы, и в обход командующих фронтами, и в обход всех старшинств между командующими армиями! — в руководство русской армией назначался настоящий боевой отчаянный умный неутомимый непримиримый генерал, во цвете решительности и сил, да к т о? — исконный вождь младотурок!!

— Э! э! Ты — не забирай! не забирай! — заметив и поняв, одёргивал Свечин. — Ты — опять своё думаешь? Если эту детскую игру в младотурки — так ты её кончай, забывай, выкинь! А какую он сейчас храбрую демонстрацию под Владимиром Волынским сделал, ты ещё не знаешь. Он — в отличной форме. С таким генералом мы...! И ты — теперь будешь здесь опять!

Такой начальник штаба при таком Верховном — да! это будет властный Верховный Главнокомандующий! Такие звёздные взлёты не могут оставить спокойным сердце истинного офицера. Только так и взлетают настоящие полководцы! Только так и появится новый Суворов, которого жаждет Россия всю войну. Он и не смеет медленней, тогда он не Суворов!

И, может быть, повернётся ход войны? Вот так и повернётся?

Или — уже поворачивается?

Но тогда... Если сам Гурко становится на это место — так переворот по сути уже и совершён? Лучшего кандидата — не избрать ни при каких обстоятельствах.

Так власть уже почти у н а с?..

ЕХАЛ БЫ ДАЛЕ, ДА КОНИ-ТЕ СТАЛИ

А пока что надо было отработать свой вызов в Ставку — пойти в разведывательный отдел и там несколько часов позаниматься, дать сведения, заполнить некоторые ведомости.

Занимался, а захвачен был новостью, то и дело думал о Гурко. Неужели назначат? в обход стольких? Да если б только назначили! Как могло бы всё измениться, сколькое — исправиться!

В первый момент взлетело неожиданностью: как его могут назначить? А если вспомнить, подумать — то может быть и не так неожиданно? Когда-то, в лучшие столыпинские годы, Василий Гурко поставлял военных советчиков для гучковской думской военной комиссии, да на его квартире и собирались с думскими деятелями, готовили мнения по законопроектам, — и среди тех первых советчиков был и Алексеев! Но потом, очень осторожный, Алексеев отбился и не попал под ругательную кличку «младотурки». И вот — не приходится ли подумать о нём лучше, чем говорили со Свечиным? — памятливый, добросовестный и беззавистный, он не упускает заслуг и талантов? После того, что в Восточной Пруссии Гурко своей одной кавалерийской дивизией совершил рейд к Алленштейну и назад — для Самсонова поздний, для Ренненкампфа разоблачительный, что можно было всем успеть, а сам по себе дерзкий рейд и безупречный, — Гурко был возвышен до командующего корпусом. Но так на том и засох. Однако последний год Алексеев назначил его, ещё генерал-лейтенанта, на армию, где под него подпадали полные генералы, и временно давал ему Северный фронт, затем гвардейскую армию — и вот теперь притягивал сюда, единственным себе на замену. Благородно.

Захвачен был Воротынцев этой новостью, и всё теперь — его собственная завтрашняя судьба, где быть ему, и судьба расплывшегося за поездку и уже самому себе непонятного тайного замысла, — всё начинало зависеть от Гурко. Замысел был сильно пошатан Свечиным, а в чём-то и Ольдой, — но ещё искал себе какую-то неизвестную форму.

От Ольды — письмо бы получить! Как давно он не видел Ольды, как соскучился! Столько уже прошло после неё! Да — есть ли она у него вообще? Так это отгорожено было теперь и пансионными объяснениями. Грудью, телом Георгий не забывал Ольду ни на миг, носил в себе, при себе. А головой — даже и забывал.

За эти часы средний пасмурный тёплый день переходил в пасмурную бурю. Разыгрался ветер и по серому гонял чёрные тучи, хотя дождя из них не было. Разыгрался, кидался, толкал крупными сильными порывами, срывал шляпы, надувал одежды, отмётывал конские гривы и хвосты, посреди широкой Губернаторской площади даже останавливал в грудь пешеходов. Но что необычно для этого времени года и при таком мрачном небе: этот ветер нанёс тепла, избыточного, чуть не летнего, которое не могло удержаться долго, но вот к концу дня перед темнотою вносило сумбур в дыхание, в настроение. И когда Воротынцев после занятий собрался на почтамт, ему жарко, тяжко оказалось в шинели, в папахе, пожалел, что нет с ним плаща и фуражки.

Справа слышно обсвистывал ветер белую пожарную каланчу с золотистым верхом, как каской пожарного. Даже с удовольствием напрягаясь и наклоняясь против ветра, Воротынцев по плотно выложенному камню пересек Губернаторскую площадь, держа направление к старой ратуше — с башнею, видно не без польского влияния, до высоты шестого этажа. И вышел на Большую Садовую улицу позади ратуши, где вдоль каменной монастырской стены приставлены были мелкие еврейские лавочки и даже сейчас торговали для малышни «перепечками», «смажёной редькой» и другими забавами.

За монастырём с голубой колокольней дальше тянулась эта длинная торговая улица, и на ней все лучшие могилёвские аптеки, фото-

графы и магазины — на вывесках красные перчатки, золотые сапоги, гирлянды малороссийской колбасы. И два конкурирующих кинематографа — «Чары» и «Модерн». Было к сумеркам — и по ней же начиналось гимназическое гуляние, по две и по четыре гуляли гимназисточки в шапочках пирожками, а над ухом отвевался бант — то коричневая лента с золотистой кокардой, то синяя с серебристой, то малиновая с золотой. И попадались прехорошенькие и почти взрослые. А за ними, также по нескольку, вышагивали гимназисты в тёмносиних с белыми кантами фуражках «мятого фасона», как у кавалерийских офицеров, и реалисты в зелёных с жёлтыми кантами.

Тоже теперь своего рода столица, своя жизнь, своё оживление. И бурный тёплый ветер не мешал, а только подбодрял их всех.

Воротынцев шёл на почтамт в надежде получить «до востребования» письмо от Ольды. И чем ближе к почтамту, тем густилось в груди и колотилось только: Ольда!!! Сколько с тех пор ненужных лишних дней, объяснений, переломов! И в невыносимое ж положение он поставил её, да и Вереньку в глупое, если Алина нагрянула туда объясняться. Зачем? Зачем поторопился? Как он мог? Дурак. Чуть и само ольдино имя Алина не выманила у него, как у простофили. Наказала за откровенность.

О самой Алине третьи сутки он ничего не знал, но именно тем был даже облегчён: не видишь, не слышишь, не ноет. Только бы не в Петроград поехала, не с Ольдой разбираться. Помогла ли милая Сусанна? Удержала ли?

Алине — больно, да (а может — уже и меньше), ещё предстоит с ней встречаться, жить, быть, — но сейчас лишь усилием ума могло это вспоминаться. Сейчас хотелось — не думать о ней совсем.

Сперва подошёл к окошку телеграмм. Спросил. Сразу подали. Петроградская. Чуть не разорвал, разворачивая. От Веры. Всё в порядке, Алины не было.

Хватило рассудка, слава Богу.

А что Веренька пережила? Что она там думает? Неприятно ужасно.

И уже с отпавшим грузом, уже с другим чувством ожидаемой сладости, Воротынцев пошёл спросить письмо. За дубовым исполированным старым барьером чиновник точными пальцами стал перебирать пачку на «В» и нисколько же не торопился найти (и ни за что же не пропустил бы). Воротынцев глазами вытягивал из его пальцев ожидаемый конверт, ещё не зная, как будет он выглядеть, ещё не получав никогда, ещё к почерку Ольды не привыкнув, чтоб узнать его издали и в повороте, но заранее желая и любя тот конверт и тот почерк, и всё, что будет им написано, от чего горячим польёт по жилам, уже сейчас лило!

И милый чиновник — нашёл! Нашёл такой конверт — уменьшенного размера, но не дамский, а чуть удлинённый, из плотной, слабо рифлёной бумаги, белой, но с сероватым отливом, в переминании уже издававший шелест нежной тонкой подкладки. А почерк был — не склонёнными, не сбитыми ни книзу, ни кверху строчками, из маленьких собранных замкнутых букв, как Ольда сама — с руками, замкнутыми вкруг себя, и ногами, подобранными на диван.

Вгоряче, а не хотелось небрежно рвать драгоценный конверт. А чиновник-душа, заметив стесненье полковника, протянул ему и ножницы. И всё это — не улыбнясь нисколько. Воротынцев ещё не резал, уставился в марки. Марки были из серии «в пользу воинов и семейств», знакомые, видывал, но сейчас сочетание их — не случайное? — ещё пригорячило: одна — Георгий Победоносец, копьём разящий с коня, другая — женщина в боярской шапочке, обнявшая ребятишек-сироток. Эта боярышня, видная со спины, была рослая, никак не похожая на Ольду, но своей высшей нежной королевской сущностью— конечно она!

Безопасно обрезав лишь реберко конверта, не захватив никакой

полоски, Воротынцев отошёл читать к дубовой конторке, где боковые косые четвертные перегородки заслоняли его от возможных соседей.

Как соскучился он взять крохотные руки Ольды в свои! Слушать её голос пониженный, с напеванием!.. А сейчас — это всё наступило сразу: он не письмо держал, а — руки её, и слушал голос. Он не слова читал — он слушал Ольду. Он читал беспорядочно, неосмысленно, счастливо, перескакивая, возвращаясь, а то одну фразу трижды подряд, и никак не осваивая. Закрытый перегородками и наклоном конторки от соседей, углубился в Ольду, лицом окунался в неё, болтал с ней, и весь тон их счастливой болтовни был важнее незапомненных, недояснённых, пронесшихся фраз, — на то ещё будет время.

Только постепенно разбиралось, что вот так же беспорядочно писала письмо и она: долго ходила, ходила, полная им, как будто он не уехал прошлой ночью, но всё ещё здесь, ходила и разговаривала с ним. И уже уставши, без пяти минут полночь села записать хоть остаток, хоть несколько фраз из говоренного. Села? — или опять ходит? — по своей исхоженной комнате, как по новой, и руки раскрывши: ты — здесь? С какой стороны? Подхвати меня! Подними меня!

Воротынцев глаза прикрывал — лучше видеть, как она идёт с распахнутыми руками, будто в жмурках. Возьми меня на руки! Беру, моя сладость! Беру, моё пёрышко!

Ходьба? письмо? разговор? поцелуи? — всё перепуталось, где это всё? Кто — кому? Стоял и перечитывал над конторкой, изомлевая, о конторку локтями держась. Никак не понять: когда кончится война — куда-то пойдём... босиком по лугу...— ступни её босенькие он ясно видел — сверху целованные, с исподу целованные, и каждый крохотный палец отдельно.

И спрятав письмо-сокровище, Воротынцев пошёл, пьяно ощущая ногами гладкий плитчатый пол почтамта. Уже в дверях подумал: а что-то было там и серьёзное? Читал, но в голову совсем не вложилось. Прочесть потом? Нет, сейчас.

Вернуться — только до стены под лампой.

Нет, опять назад — к нагретой четвертушке своей конторки.

Вытащил снова письмо из конверта, а при этом выпала ещё маленькая бумажка, приписка — как же он её не заметил раньше? Могла и потеряться, ай.

«А это — утром. Просто так. Жаль отсылать — станет одиноко. Слушай ветер! — это буду я. И слушай шорохи ветвей! — это буду я.»

Клочок, две строки — а сердце опять вскинулось, взмолодилось, вырывалось навстречу: Ольда! дар мой! награда моя!

Да, но что же — серьёзное в письме? А вот что, нашёл:

«Раз ты *там* сейчас — прошу тебя: оглядись, присмотрись, разговорись: с кем можно делать то, что я так хотела в тебя вдохнуть. Ищи верных! Ведь это одно — наша общая, всех нас жизнь, не дадим ей оборваться!»

Всё так же плохо чувствуя пол, пошёл к широким, тяжёлым, самозакрывным дверям.

Вышел наружу — а со ступенек кинулся в грудь ему шалый ветер, — сильный, но по необычной своей теплоте — игривый.

Слушай! — это буду я!

За то время, что Воротынцев пробыл на почтамте, уже установился ранний, но тёмный вечер, засветили фонари, по Большой Садовой нередкие. Кажется, прошёл и небольшой дождь: свежие лужицы, к фонарям поблескивали мостовая и тротуар, украшая городской вечер. Но и от дождика только ещё теплее стало и ещё охватистей неровный буревой ветер. Что за погода! — весна в ноябре!

Воротынцеву хотелось идти, идти, и радостен был этот ветер. Шинель и папаха уже не тяготили его, таким он себя чувствовал невесомым, лёгким, и с лёгкостью отдавал встречную честь. Гулянье было уже в разгаре, и не только гимназическое, но появились и парочки,

кто и с военными, кто уединяясь потемней, где углубленье от уличной черты. И Воротынцев чувствовал себя ровесником этим юным влюблённым, но не млел шагом, а быстро, как по делу, прищёлкивал по плитам и призванивал, несла и подымала его радость.

Он только что, на почтамте, держал за руки свою Ольду, он за пазухой нёс её, маленькую!

Как легко: всё твоё, твоею грудью схвачено, и несётся здесь, с тобою!

И сам несёшься, как воздушный шар, наполненный горячим воздухом.

Ещё проезжали и конные, и военные автомобили, и повозки, прошла солдатская команда — а как будто не были признаками войны. Этот город, обременённый постоем и заботами множества военных, оттого ли что незнакомый, впервые видимый, или от налётов этого безумного тёплого ветра, или от фонарно-лужных отблесков — казался красивым местом беспечного молодого счастья. И только.

Не хотелось заворачивать в свою скучную гостиницу — тянуло быть с этой молодостью. Дошёл до Губернаторской площади — и с удовольствием толкаясь о ветер, борясь и перешагивая его, — стал опять пересекать площадь, но не полевей, к квартирмейстерской части, а поправей — к скверику с солнечными часами, где был проход в городской небольшой парк, называемый Вал за то, что возвышался над крутым откосом к Днепру, может и насыпным когда-то. Шёл — и не надышивался жарким влажным радостным воздухом!

Вторая жизнь?.. Могла начаться... Ольда — как новая галактика: с бесконечным числом ещё не исследованных, ещё подлежащих открытию миров.

Нисколько не замедлился, а так и нёсся по аллее Вала, не рассчитывая его краткости, что сейчас оборвётся деревянным заплотом и откосом. Фонари тут были редкие, увеселительных заведений не было, хотя темнела сбоку эстрада — да ведь не сезон. По сторонам тут ещё больше было приволья для гуляющих пар, откровенно целовались — ещё паруся ликование Воротынцева.

Слушай шорохи ветвей — это буду я!

Так он быстро простегнул весь Вал насквозь — сперва по одной аллее, потом по другой, свернул вбок.

В свету фонаря увидел одинокую высокую фигуру генерала, шедшего навстречу. Генерал как раз вступал под свет, но печально-медленно, с опущенною головой, держа руки за спиною, — а Воротынцев был далеко, но очень быстро его выносило, и встретились они под самым фонарём.

Ещё издали что-то немного знакомое привиделось в этой узкой фигуре. Когда же, на подступе, Воротынцев с непринуждённостью чуть-чуть изменил свой свободный шаг к строевому и вскинулся, приобернувшись, а генерал тоже вытянул руку из-за спины и тоже приобернулся, — как раз под фонарём Воротынцев не мог не узнать:

— Добрый вечер, ваше превосходительство!

И — остановился, как же иначе?

И генерал остановился, ещё не узнавая.

— Добрый вечер, полковник... О-о, Воротынцев?..

Протянул руку. Вид и голос его были староватые, а пожатие — цепкое, крепкое.

— Да вы разве в Ставке опять?

— Я-а? Нисколько, Александр Дмитрич, — весело отвечал Воротынцев. — Дня на два, случайно. А вы?

— А я-а-а... — тоже протянул Нечволодов, но совсем иначе, безрадостно и слова подыскивая. — Закисаю тут в генеральском резерве. Второй месяц. Должности не найдут.

Так разогнан был Воротынцев, и так ему, счастливому, этот тон

сейчас противоречил — тянуло его сорваться и нестись бы дальше, хотя ни к чему была вся его прогонка.

Нечволодов заметил его наклон:

— Вы торопитесь?

— Да... нет, — отрёкся Воротынцев. — Не тороплюсь. Гуляю просто.

— А тогда — не откажетесь, пройдёмте вместе?

— Да что ж. Пройдёмтесь.

И — повернул, потерял свой полёт, пошёл нечволодовским шагом, размеренным до похоронности.

Тут, на гравии Вала, сапогами, шинелью повернул, а нагретый воздушный шар его груди — и дальше понёсся, понёсся в шальном ветре, в темноте, куда попало.

68

Ногами повернул и шаг почти оборвал, но от счастья Ольду нести с собою походкой мчательной и вдруг отпустить её одну в жаркую темноту, а самому побрести с генералом в его, кажется, тяжёлом настроении, — не сразу очнулся. Отвечал и даже спрашивал, а ещё не с полным смыслом.

(Подхвати меня! Подними меня!)

Однако история Нечволодова стоила внимания. Месяц тому он был устранён от должности Брусиловым за крупные неприятности с Земгором, с которым Брусилов не хочет ссориться. Устранён — и, как генерал-майор, вызван в резерв Ставки за новым назначением. А тут уже немало накопилось отставленных генералов — и виновных, и ждущих прощения, и нового высокого назначения. И второй месяц Нечволодову дивизии не дают, бригады же теперь упраздняют, а полк ему брать обидно. И второй месяц дело его как будто потерялось в дебрях Ставки, и стал он как бы никому не нужен. Идёт такая война, а он в русской армии как бы лишний.

Этого Брусилова, лису, Воротынцев и сам терпеть не мог. К тому же зная, что полководец он — никакой, всё дуто.

О Нечволодове же когда-то и прежде была у Воротынцева мысль, что они похожи своими молодостями: тем же выбросом способностей, тем же несмеренным ощущением своей силы, тем же порывом едва ли не самому, одному, всё улучшить в российской армии. Только угодил Нечволодов в худшую пору, когда и действительно остался один. Да разницы между ними было всего 12 лет, не поколение. Но — царствование. А ещё: взлетал Нечволодов ярче и быстрей и офицером стал моложе, и в Академию поступил на целых 20 лет раньше Воротынцева. Так что по товарищам, по памяти, по службе пролегло как бы и поколение.

(Когда кончится война, пойдём босиком по лугу...)

Лишь недалеко за пятьдесят Нечволодов, а выглядел под фонарём если не старым, то сильно измученным, щёки ввалённые, сразу видные на его, редком среди офицеров, вовсе бритом лице. Вот уже можно было и присудить, что не удалось ему в жизни ничего. И холодило Воротынцева продолжить сравнение. Летом Четырнадцатого, начиная эту войну, Воротынцев ещё гордо был уверен, что блистательно приложится. За два же года войны надежда затмилась и покинула. А в минуты проблескивающие начинало опять вериться, что призван многое сделать: ведь не изранен, не ослаб, не состарился, и способности не притупились. Только душа упадает. (Может, из-за этого он и рвался найти себе применение шире, чем строевой офицер.)

Нет, даже и сегодня не допускал Воротынцев поверить, что и он вот так же, к старости, окажется ненужный, неприменённый, так же будет бесславно угасать.

Медленно-траурно шли, и горько говорил генерал:

— Зато — полное раздолье левым. Чуть завозятся — им уступают. Открытая дорога всем, кто расшатывает власть. Когда Ганнибал угрожал Риму, властный римский сенат вышел навстречу плебею Варрону, уже виновнику позора и бедствий, — чтобы только укрепить военную власть. А наша Государственная Дума во время войны открыто призывает не подчиняться министрам — и воюющая армия читает поносные отчёты газет.

При их скорости, как они шли, от фонаря до фонаря надолго входили они в чёрный тоннель деревьев, и друг друга совсем не видели. А тоннель колебался над ними, деревья ахали, барахтались, хлестались и сыпали последними листьями.

(Слушай ветви, это буду я!)

— А на самом деле только торжество своей партии их заботит. Все эти кадеты не того боятся, что правительство проиграет войну, а наоборот — что выиграет, да без них. Оттого они так и добиваются кадетского министерства — именно сейчас. Они всё рассчитывали, что без них не выиграют. А теперь — снаряды есть, фронт крепок, обойдутся без них — и всё у них пропадает. После войны на чём им выскочить?

Побывал среди кадетов Воротынцев, а так не подумал. Не Шингарёв, конечно. Но — Милий Измайлович, отчего бы нет? Но — Павел Николаевич?

Жгли генерала неурядицы не своей застоявшейся судьбы:

— «Реакционная внутренняя политика»! А — какая сейчас политика? Победить, вот и вся политика. Дошло до того, что городские самоуправления — в оппозиции к высшей власти, где это видано? А печать? Вся — левая, вся — разрушительная. Поносит Церковь, поносит патриотов, только что прямо трона не называют, усвоили лаяться — «режим». Любой прохожий журналист выражается от имени России. Обливают нас помоями, но нашего опровержения никогда не поместят, это их «свобода». А если кто за правительство, тех — «рептильная» печать или «казённобутербродная». А большой русской национальной газеты так и не сумели создать. И даже правительственной не догадались, наверно в одной России. А почему мы годами должны слушать только брань против правительства?

— Но видите, — с превосходством счастливого человека над несчастным, мягко уговаривал Воротынцев, — гласность быть должна. Называться — всё должно открыто, злоупотребления — оглашаться всенародно. Чтобы проходимцы в закоулках трепетали.

— Так дорогой вы мой! Конечно! Да разве они огласят злоупотребления своих земгоров? или промышленников? или банков? или спекулянтов, которые продукты прячут? Этих — они всех покрывают, главные проходимцы у них и не трепещут. Они единственно поносят только власть.

Тоже верно.

— И народ узнаёт о жизни своей страны в освещении её злопыхателей. Слава Богу, большинство народа этой заразой не тронуто. Но просто газет не читает.

— Если б только большинство народа, Александр Дмитрич. Но и большинство офицеров тоже ни во что не вникает. Нам — чины, продвижения, ордена, темляки, традиции части, традиции училища, да как прошли парады, — а в общественных вопросах мы ведь невежды косные, круглые. Мы думаем — оно само, и без нас вот так будет держаться.

— Вот! вот! — оживился голос генерала.

— Впрочем, — развивал Воротынцев так, без цели, — большинство никогда ничего и не решает. Всегда меньшинство. Которое действует.

— Или которое кричит.

— Но всё же, Алексан Дмитрич, — в той же лёгкой манере

умягчал Воротынцев, — свобода выражения мнений должна быть. И какая-то форма для неё, Дума, газеты...

— Да чья это свобода? — по голосу судя в темноте, остановился, ужаснулся Нечволодов. Остановился и Воротынцев. — Какая-нибудь «лига образования» кишит по Руси — сотнями, тысячами учителей. А какое у них *образование*? Для них в России ни святынь, ни исторических прав, ни национальных устоев. Они ненавидят всё русское, всё православное, всё уходящее вглубь веков. «Образование» их — революция. Только для смягчения называется «свободой». Какая «свобода»? Из десяти наших соотечественников — восьмеро крестьян да один мещанин. И никого их эти *партии* не выражают. Ни — духовенства. Разве отчасти — дворян. Все эти партии только самих себя выражают, это банда. Они говорят «народоправство», а это значит — *их* власть. И сколько бы вы парламентов ни открывали — засядут всё юристы, а сколько бы газет — всё журналисты. И все вместе будут дружно гавкать на Россию. А Россия — молчать. Страна состоит из мужиков, а Дума забита столичными адвокатами.

— Так что ж у нас тогда за избирательный закон, я не пойму. Ну, изменить избирательный закон.

— Ничего не поможет, всё равно юристы да журналисты пролезут. Парламент — это специально для них форма такая. А если они ещё «ответственного министерства» добьются, так совсем перебесятся. Да нельзя же отдавать Россию в бешеные руки! Неужели вы предполагаете, от нашей Думы можно дождаться добра?! Чего они требуют? Министров, которые бы отчитывались только им, — то есть нарушить основные законы государства. Амнистии террористам и революционерам — то есть распустить на свободу врагов государства, чтоб могли заново приниматься. Да ещё: чтоб в обход Думы не установили ни малейшего закона. А они — любой закон в болтовне утопят.

— Н-ну... а... что же тогда? Какой же выход вы...?

— Да немедленно распустить! — скомандовал генерал.

Ну вот! Застеснялся Воротынцев.

А голос Нечволодова налился торжественностью:

— Роспуск Думы — единым манием царя!! Слушай, моя страна! Мы возвращаем себе Россию!

Вот эти повышенные чрезмерности, не подверженные улыбке и сомнению, всегда стесняли Воротынцева. Такие вещания проплывают над снованием сегодняшнего общества, а не могут его увлечь.

По смыслу — совсем бы тихо, но из-за ветра громче:

— Думу распустить — не будет ли хуже волнений?

Нечволодов из темноты положил руку точно на плечо Воротынцеву, не проминул:

— Соображение трусости. Как раз наоборот. Это первый верный шаг выйти из революции. Что за слабоумие — бороться с революцией уступками? Если власть составляет сделку с общественными болтунами — то она только ослабляется. Революция — уже пришла, неужели вы не видите? Она охватила нас уже который год. Она нас — уже кидает и разносит. Она — почти победила! А мы всё боимся её разбудить и вызвать. И не действуем.

Ого! Не только — грозит, но — уже пришла? Воротынцев же — никак революции не видел. Спорил и с Гучковым. И сегодня в устроенном кабинете, в душистом трубочном дыму, смеялся Свечин, что революцию выдумали. Но сейчас тут, в продувной темноте, с наложенной на плечо крепкой рукой генерала, вдруг поразило совпадение Гучкова — и Нечволодова, с разных полюсов. И понеслось, понеслось всё безнадёжное, чего он наслушался в этой поездке, — и вправду: не *подошла* ли?

Застоялись они. Нечволодов взял Воротынцева под локоть, при разнице ростов их — сверху вниз, и, так придерживая, повёл дальше по Валу. Жаркий больной ветер промётывался между деревьями, вы-

ворачивался на них, толкал, обнимал, обгонял, заворачивал и шумно мёл листвой по земле. На что-то твёрдое наступала нога иногда, вроде камешка или каштана, раздавливая.

Да ту же самую, воротынцевскую, тревогу о России, только совсем с другой стороны продувал Нечволодов:

— Неужели не видно вам, полковник, до чего доведена Россия? Не от войны мы в катастрофе! Не от потерь и не от дурного снабжения. Мы в катастрофе оттого, что *уже* завоёваны левым духом! Прежде всякой этой войны страна уже была расшатана языками и бомбами. Давно стало опасно мешать революции и безопасно ей помогать. Отрицатели всех русских начал, орда революционная, саранча из бездны! — ругательствуют, богохульствуют — и никто не смеет им возражать. Левая газета напечатает самую возмутительную статью, левый оратор произнесёт самую зажигательную речь, — но попробуйте указать на опасность этих выступлений — и весь левый лагерь вопит: «донос!». И этого слова панически боятся все честные люди — и так проходят молча мимо любого подстрекательства. Патенты на честность раздают левые. Вся печать, вся профессура, вся интеллигенция, — все над властью насмехаются. И дворяне — туда же. И мы — тоже немеем перед левыми, русоненавистническими фразами, так они признаны естественно современными. И даже вымолвить слово в защиту православия — освищут, позор. Собирается пироговский съезд — кажется, врачи! — и о чём же они, идёт война, — о раненых? как лечить? Нет, всё о том: изменить государственный строй!

Из тёмной невидимости шёл к Воротынцеву неотклоняемый голос:

—Вся русская жизнь — в духовном капкане. Три клейма, три заразы подчинили нас всех: спорить с левыми — черносотенство, спорить с молодёжью — охранительство, спорить с евреями — антисемитизм. И так вынуждают не только без борьбы, но даже без спора, без возражений отдать Россию. И тогда восторжествует *прогресс*! Россией по внешности управляет ещё как будто Государь. А на самом деле давно уже — левая саранча.

Ну уж, хватил! Ещё пока левые не управляют. Но, конечно, царю — не надо быть ничтожеством. Вот и надо уметь управлять.

(Это, впрочем, — не вслух, как-то неловко обидеть монархическое почитание.)

А Нечволодов — крепче за локоть, крепче шагом по Валу, в обезумную темноту, в непристойное ветряное кружение:

— Это — смертельная болезнь: помутнение национального духа. Если образованный класс восхищался бомбометателями и ликовал от поражений на Дальнем Востоке? Это уже были — не мы, нас подменили, какое-то насланье злого воздуха. Как будто в какой бездне кто-то взвился, ещё от нашего освобождения крестьян, — и закрутился, и спешит столкнуть Россию в пропасть. Появилась кучка пляшущих рожистых бесов — и взбаламутила всю Россию. Тут есть какой-то мировой процесс. Это — не просто политический поворот, это — космическое завихрение. Эта нечисть, может быть, только начинает с России, а наслана — на весь мир? Достоевскому довелось быть у первых лет этого наслания — и он сразу его понял, нас предупредил. Но мы не вняли. А теперь — уже почву рвут у нас из-под ног. И у самых надёжных защитников падает сердце, падают руки.

Проходка, начатая из чистого сочувствия, сбив Воротынцеву настроенье любви, однако начинала сбивать его и больше. Наслание злого воздуха? Это — передавалось. Ещё с новой точки увиденная Россия, уж так дурно и крайне, как Воротынцев не видел. Но — тоже это касалось наших корней, треск вытаскивания которых он ощущал на фронте. Три недели назад он ехал в центры русской жизни — с цельным, как ему казалось, нерасщеплённым представлением. Но от каждой встречи он изменялся, сомневался, поворачивался, спотыкался. Только одно он усвоил: что всё — куда сложней. А вот — как именно??..

Спотыкался. Но выводил:

— Однако, и столетия были у нас всё это предупредить. Не допустить, чтобы в каком-нибудь Ново-Животинном не хватало бы кислой капусты на зиму. Где же раньше были наши глаза? Сердце? И высочайшие пальцы, на всяком смелом проекте пишущие — «отказать»? Отчего же не на сто лет раньше «наслания» мы освободили крестьян? А уж освобождать — так надо было пощедрей, не держать в земельной тесноте. Из какой же низкой дворянской корысти, что удорожатся наёмные цены в поместьях, десятками лет не отпускать на вольное переселение в Сибирь, а уехавших возвращать силком? Свою же пустую Сибирь имея, не давать туда переселяться, это — как?..

Над чем ни задумайся — над всеми путями нависал убитый, остановленный Столыпин.

— Был человек, могуче вытаскивал Россию, — кто ж его и травил, прежде правых? Да не они ли его и убили? Он — умел двигать, так ему руки связывали.

Всем этим правым, как бы право они ни смотрели — не хватает крестьянского мироощущения, счастливо зачерпнутого Воротынцевым в Застружьи. Плавают — не на той глубине.

— Эта левая профессура — действительно, не крестьянам сочувственна. Но — какой же им дали разгон для фраз?

При медленном их шаге так же медленно подходили они под фонарь, так же медленно расставались со светом его, и доставало времени запечатлеть спутника, а потом в неосвещённости соединять с голосом образ его: шинель не франтовскую, но плотно схваченную по высокому твёрдому туловищу, фигуру удручённую, но не сгорбленную, и сильно исхудалое лицо, но из одних энергичных черт. И по хватке на локте и по боковым толканиям угадывалось тело мускулистое и ещё гибкое. А если было впечатление старости, то — от горечи речи.

— Да. Профессорам — России не жаль, революционерам — тем более. Но — м ы?! — где же мы? Отчего же мы костенеем перед саранчой? Отчего ж в летаргии — мы? И все рассеяны. И все поодиночке.

В это «мы» он уверенно объединял себя с Воротынцевым — с несомненностью, откуда взятой? Для того, видимо, и весь разговор потёк, чтобы соединяться и действовать?

— Мы даже пера не можем найти в защиту, не то что меча. У нас и писать некому. Косноязычны.

А правда: почему и пера даже нет? Почему такие хилые правые газеты, и ещё друг с другом грызутся, и ни у кого высоты?

Говорят — *правые*. Да разве у нас есть какие-то «правые»? Ни такой партии, ни прочного строения. Ни ораторов. Ни вождей. Ни средств. Это и суть загадочного наслания: защитники все обессилены. (Или оглуплены? Почему все — такие неумелые, неуклюжие, грубые, нетерпеливые, почему всегда обречены на провал?) Нет этой зоркости, что неизбежна борьба, что выиграть её можно только крепостью и чистотою духа. (И где ж ваше высокое лицо? И отчего само слово «правые» вы допустили сделать бранью?)

— А поведём себя так, чтобы не было стыдно. Вот я — нисколько не стыжусь. Я где угодно вслух скажу, что горжусь быть причисленным к чёрной сотне. Если хотите, выражение происходит от чёрной сотни монахов, отстоявших от поляков Троице-Сергиеву лавру, — и так они спасли взбудораженную Россию. А в Пятом году назвали «чёрной сотней» те растерянные чёрные миллионы, которые вышли на защиту власти, когда она сама себя не могла защитить. Но сегодня — сегодня найдите мне хоть сотню! Хоть сотню, готовую к действию, где она есть?

Между тем по крайней аллее они подошли к тому месту, где Вал обрывался вниз к пешеходной тропе на набережную — а по ту сторону ущельица, сразу рядом, поднимался на таком же откосе губернаторский сад. Здесь, подле них, фонаря не было — а за забором в саду

светимые электричеством окна во втором этаже царского дома мелькали, как будто качались, от резкого ветра в голых деревьях сада.

Там, в царском доме, тёк вероятно беззаботный вечер, свободный от государственных размышлений, — долго обедали, или распивали поздний чай, или в карты играли, или рассказывали разные случаи военной жизни?

А тут, в ста саженях, стоял непозванный, ненужный, забытый слуга престола. В слабых дальних отсветах не было достаточно видно его лицо, но можно было развидеть напряжёнными глазами рослую прямую фигуру, а при руке опущенной — пенёк или парковый столбик.

И похоже было, что Нечволодов опирается на меч.

Бездействующий. Не веленный к бою. Воткнутый в землю.

Уже пришла! — и охватила! И стоял против неё готовный рыцарь. Но — не звали его на помощь. Да и сам меч его был в землю врыт, и никакой руки не хватило бы вытащить его.

А если б и вытащить — так сгнил он остриём.

Там, в светящемся запертом доме, откуда любое решение через четверть часа было бы подхвачено телеграфными лентами, — мучились ли и там государственными размышлениями?

Но мучились ими здесь, на тёмном Валу, толкаемые тёплым ветром. От кого решений не ждали и помощи не спрашивали. За забором царского сада нашёл своё место неласкаемый генерал. (Да может, весь месяц каждый вечер он и ходил сюда стоять? — вот и сегодня привёл уверенно.)

— Надо объединяться! Надо действовать! — чеканил Нечволодов, как бы не сомневаясь, что говорит с единомышленником или просто не в силах дольше один. — Надо восставить народ в национальную личность! И это — коренней и первей, чем наступление на внешнего врага.

Вот эта последняя мысль — замечательно совпадала! Прямо прилегала к тому, что Воротынцев эти недели нёс и не мог нигде никого убедить.

Написала ему Ольда: «ищи верных!». Это так, надо же искать.

Нечволодов понимал так: в начале войны вступились как бы за Сербию. Но это развеялось, а оказались: против держав такого же образа правления, как мы, и в союзе с державами правления противоположного.

Что ж, за союзников — не Воротынцев заступится.

Сходное перед собой увидев, Воротынцев увидел однако и возражение: а Центральные державы боятся, что мы будем объединять славян, и потому вынуждены воевать против нас. Зачем мы о славянах так нерасчётливо кричали десятилетиями? И зачем мы это тянем непосильно и сегодня?

Но — и Нечволодов уже не о славянах. Он тоже: как бы только Россию вытащить:

— Надо создать освежённую новую правую силу. От источников нашей народной истории. И себя — как опору предложить ослабшей власти. Наступили решающие дни! Наше дружное мужество под твёрдой рукой может спасти Россию в последний момент. Выступить и отважно сказать — а это ещё трудней, чем выступить, — что Россия без монархии существовать не может, это — природа её.

Всего-то? Опять наводили Воротынцева на то же, и опять декламация, беззащитными боками о землю. Во всех монархических преувеличениях всегда поражало Воротынцева, как могут самостоятельные, стойкие и развитые люди так слепо-покорно относиться ко всем действиям непогрешимого царя? Сила их чувствования могла вызвать восхищение — но программа действий?

— Под чьей же это твёрдой рукой? — не пощадил Воротынцев своего собеседника. — Если венценосец невиданно слаб — то под чьею? Если помутился национальный дух — то не на самом ли и верху?

А возиться трону с Распутиным — это не помутнение? Разве может Государь так свободно распоряжаться своей частной жизнью? Где же ореол?

— Что́ Распутин! — возмутился Нечволодов. — Вся распутинская легенда раздута врагами монархии. Чем подорвать трон? На «проклятое самодержавие» мало откликаются. Но если государыня — любовница распутного мужика и ещё немецкая шпионка, — так это как раз то, что нужно. Распутин так приклинился, что можно бороться против трона — и якобы за Россию.

— Но если твёрдой руки наверху — именно и нет? Если Государь всё направляет не туда или даёт разваливаться?

Первый раз нечволодовский голос, как можно было угадать через ветряные сносы, дрогнул. Но — не от колебания преданности, а от изумления, что вот и офицер высокого ранга, отважной службы, никак не могущий не быть верным слугою престола, — он...?

— Да, Государь наш бывает избыточно-мягкосердечен. Но монархист не может считать себя слепым исполнителем государевой воли, — ибо тогда все ошибки и промахи власти окажутся — чьи? Монархист должен сказать: царь всегда прав, а я — отвечаю за всё, и если виноват, то — я. Государю нужны верные люди, а не холопы. Монархическая сила — выше монарха! Усумниться в одном монархе — значит усумниться во всякой монархии. Царь — воплощение народных надежд.

— Но — не этот, — жёстко отрезал Воротынцев.

— Да кто бы ни стоял на этом месте! — ужаснулся Нечволодов.— Царь и Россия — понятия нераздельные.

— Нет! Только — достойный своей страны. Можно укреплять, когда есть личность в центре. Но невозможно укреплять вокруг пустоты, которая и сама стыдится слишком верных сторонников. Вот так уродливо принято у нас, да судите по себе: что люди, верные престолу, мало что осмеяны обществом, но у самой власти в пренебрежении. Как будто совсем не нужны ей. Или она их стыдится.

— Об этом может Бог судить. А не дано человеку, — прогудел Нечволодов.

— Нет, отчего же, практический вопрос. Я бы даже сказал: стала власть сама до того неверна, что слишком честно служить ей — уже и опасно: предаст, ответно не защитит. Вероятно от этого и служат ей многие только вполкорпуса. Лишь бы казаться в строю. И так обвисает, обстоит трон — превосходительный сброд, без совести, без разума, с одними шкурными интересами, — и разве он собран не по манию царя? Мошенники, а не монархисты.

Первый раз Нечволодов не нашёлся. Молчал, ровный, лицом к царскому дому, держась за врытый сгнивший меч. Вот так. И Гучков — чтоб избежать революции. И Нечволодов в другую сторону — чтоб избежать революции.

Все думают врозь. Все тянут врозь. А Россия — ползёт по откосу.

— Как хотите, Алексан Дмитрич, но вокруг одного символа я объединяться не могу. Должна быть и голова достойная. И не должно быть тления возле неё.

— О-о-о! — гулко дохнул Нечволодов, — когда-нибудь, когда-нибудь мы оценим, что он — очень достоин! Его чистое сердце. Его любовь к русским святыням. Его простодушие небесное.

О да, простодушие — можно растрогаться. Посылать за ружья, за золото, или из одной имперской чести? — 60 тысяч русских душ на французский фронт?

Нет, Воротынцев не вступал в предлагаемое. Но всё ж: это дружное мужество под твёрдой рукой — что оно?

Пошли обратно по аллее. И Нечволодов, голову ниже, уже не колокольно, но заговорно — тайным заговором в пользу власти! — изложил существующий план. Не собственный свой, но выработанный в столице монархической группой Римского-Корсакова.

Простейшие самонапросные действия, всего только последовательные. Пересмотреть всех министров, начальников военных округов и генерал-губернаторов, не оставить ни одного случайного, равнодушного или труса, а только — преданных трону, смелых и решительных людей. От каждого принять клятву о готовности пасть в предстоящей борьбе. И на случай смерти каждый назначает достойного заместителя, подобного себе.

Усумнился Воротынцев: вот это самое трудное — найти в верхних слоях столько людей такого качества. Вот таких-то бескорыстных, жертвенных и отчаянных монархистов именно в том-то слое и не хватает.

— Ну, а если трёхсот верных и твёрдых людей в ведущем сословии не осталось — значит, трона не спасти, — мрачно согласился генерал.

Да вот он был уже здесь, один из трёхсот, губернатор или командующий военным округом, завидный воин, каждый вечер по Валу охраняющий царский дом избыточным часовым.

И полагал, что нашёл второго?..

Думу, как уже сказано, распустить манифестом — и бессрочно. В крупных городах ввести осадное положение. В Петербург возвратить часть гвардии, в Москву ввести кавалерийские части.

— Александр Дмитрич, вы должны отлично знать, что гвардию — перемололи. И не масоны, а Брусилов, Раух и Безобразов, лучший и старый друг Государя.

Заводы, работающие на оборону, перевести на военное положение и тем устранить стачки. Во все земгоровские и гучковские комитеты назначить правительственных комиссаров, поставить деятельность комитетов под государственный контроль и пресечь там революционную пропаганду.

Да как будто и не много. И вполне разумно.

И — быть готовыми к борьбе и к личной гибели, а не ждать государственной катастрофы, положась на милость Божью. Главное: не отступать. Не колебаться. Полумеры только напрягают озлобление. Не дать запугать себя к уступкам. Действовать осмотрительно, но и решительно, как у одра тяжёлого больного. И никакой революции не будет.

— Так ведь — уже пришла?

— Отступит! Пришёл — кризис, но его можно решить в благополучную сторону. Только не закрывать глаза на край катастрофы!

А ветер измученный не утихал, так и кидался — то сверху, то из-под ног, то в грудь толкая, останавливая, то падая сам.

То ли уговаривал, то ли отговаривал.

Проекту нельзя было отказать в энергии, а в простоте — даже и крайней. И был он проще и ясней гучковского. И все требования естественны. (Только не спасал народ ни от войны, ни от союзников.) Но зиял изъян, разъедающий весь замысел:

— Кто же будет этих губернаторов — проверять, переставлять, назначать? Брать клятву? Разве он — может?

Молчал Нечволодов.

— На такую решительность он не способен, вы же знаете. И чтобы к смерти готовить своих приближённых — надо быть в каком величии характера самому? В какой решимости?

Молчал Нечволодов.

Но Воротынцев добивался:

— И что ж Государь сказал на этот проект?

Ещё прошли.

— Проект передали Штюрмеру. А он... пока побоялся его подать в высочайшие руки.

— Побоялся?? Вот! вот! — оживился, как будто обрадовался Воротынцев — уж очень хорошо, уж очень плохо, проверка сходилась. — Во-от! Побоялся ведь — чего? Что самому придётся клятву смерти

давать. Вот! Ничтожество на ничтожестве облепило трон — и как вы это расчистите? И — где ваши триста верных?

Нет, даже Гучков рассуждал реальней.

— Так — сами подайте кто-нибудь!

Генерал закинул голову, там, на своей высоте:

— Как это сделать? Глаза Государя застланы. И входы к нему закрыты.

Вот то-то. Стоял царский дом — рядом. И за каким-то из близких его светящихся окон невыразительный венценосец дослушивал скучные гусарские истории, раскладывал пасьянс?

А прочесть проект своих монархистов не было у него времени. И даже вернейшим бесстрашным генералам своим не мог найти он места и дела.

Огорчил, сбил одинокого генерала одинокий полковник. Но и сам же, как в том начальном повороте на 180 градусов, от полёта к похоронному маршу, — сам потерял, терял, терял, неделю не первую, свой катапультный вылет из Кымполунга в Петербург. Во всех этих перечиях Воротынцев как бы совершил полный круг и вернулся почти в прежнюю точку. Да лицом — не назад ли?..

Невозможно укрепить трон, даже легши трупом на его ступеньках!

Но допустимо ли — раскачивать?..

Ну, вот приедет ещё Гурко. Посмотрим.

69

В этом году так засиделся Государь в Ставке — пять месяцев, не отрываясь даже в Царское Село, не пускали военные действия, что съездив туда вокруг годовщины смерти отца 20 октября — и отстояв ежегодную панихиду в Петропавловском соборе, — он ощутил тяготение теперь поехать повидаться с матерью, в Киев. И воротясь из Царского в Могилёв, даже не переселялся полностью в губернаторский дом, а повлёк его поезд дальше на юг.

Ах, Киев! Сохранялось что-то неизбываемо, неотъемлемо святое в этом городе: каждый раз при въезде в него — высокое строгое древнее чувство охватывало сердце. И первой надобностью казалось: поехать и поклониться в Софийский собор. В этот раз с Алексеем так и сделали — прямо с вокзала, лишь потом во дворец к Мамá.

По этому времени года здесь можно было ждать разливистой золотой осени. Но нет, стоял туман, хотя тёплый. И в этой задумчивой безветренности, безглядности тихого дня — как-то особенно строго и ответственно стояли шпалеры военных школ и войск, выстроенные вдоль улиц проезжания. Ещё предстояло ему в тот же день после завтрака произвести во дворцовом дворе в офицеры выпускников школы прапорщиков, и на другой день ещё посетить четыре военных училища, и многими улицами ещё прокатиться средь народа с Мамá и наследником,— но самое сильное впечатление произвели вот эти войсковые вереницы по киевским улицам под надвинутым задумчивым туманом.

Государь даже не понял сперва — почему. И проезжая мимо театра — не понял, не вспомнил, всё так переменилось во времени, в людях, другое. А вот когда понял: войдя в знакомые комнаты дворца, где прожили несколько таких счастливых сентябрьских дней 1911 года,— вдруг ярко вспомнил всё ликующее настроение того киевского торжества, при флагах, гирляндах, царских вензелях, оркестрах и такие же улицы, застроенные рядами, рядами войск, и такие же разголосы «ура»,— но в этих комнатах, воротясь вечером к Аликс, рассказывал о ранении в театре несчастного Столыпина. И ещё потом после Чернигова возвращался в эти комнаты, тут узнали и о смерти его.

И вдруг сейчас, через пять осеней, так близко и сильно проступил

Столыпин к царскому сердцу, как ни разу ещё от смерти. Нужно было пройти пустыню перемен и поисков министров, чтобы сегодня очнуться и поразиться: а ведь с тех пор не было сравнимого министра. И в эту войну, в это безлюдье руководства, какое бы решение был — Столыпин!

И за что Государь тогда был им недоволен? за что думал увольнять? Ничтожные причины, которых уже не вспомнить, задвинутые отрогами войны.

И так остались овеяны грустью оба дня, проведенных в Киеве, оба уютных вечера, когда сидели втроём, с Мама́ помогали Бэби складывать составные картинки, а сестре Ольге давали разрешение венчаться со своим кирасиром.

А в дополнение к этой задумчивой поездке — на обратном пути встретили четыре воинских поезда, следующих из Риги на юг (войска на укрепление Румынского фронта). Видели в окнах множество молодых весёлых лиц, слышали пение,— так радостно! Не оскудевает Россия солдатской силой.

В Ставку вернулись в ужасающий дождь — но, впрочем, это считается хороший признак.

А позавчера получил от Аликс бумагу на передачу всего продовольственного дела Протопопову. (То-то ещё и в Киев была телеграмма от Григория, но как всегда такая трудноречивая, что Государь её не понял.) И охотно подписал: он давно и сам считал так правильно. Он ещё и при отъезде из Царского так хотел — но Протопопов уклонялся. Теперь только помоги Бог! Трудных месяца два, а там всё наладится. Будем тверды.

Едва отправил с курьером — и тут же пришла от Аликс шифрованная телеграмма,— исключительная редкость, они не пользовались: разрешить остановить, не объявлять решение о Протопопове.

Эта телеграмма сильно покоробила Государя. Она всего лишь возвращала дело в канунешнее положение, не требовалось никакого нового решения, и Государю здесь, в Могилёве, не могли быть известны все острые петроградские перипетии. Однако — и слишком уж поворотливо, и слишком уж мгновенно. Можно было и накануне чуть лучше подумать.

Это навеяло уже не первые сомнения о Протопопове: действительно ли он в полном равновесии или есть правда в том, что злословит Дума? — хотя сперва сам Родзянко предлагал его министром торговли-промышленности. Государю приятно было, что Протопопова он отличил своим глазом сам, непредвзято, с первой встречи тот ему понравился как бывший офицер конно-гвардейского полка. Нет, ему не навязали Протопопова, совет Аликс (и Григория) попал уже на готовую почву: Николай и сам всегда мечтал о таком министре внутренних дел, который будет хорошо работать с Думой. Такая надежда была с Хвостовым-племянником, но трагически провалилась. Однако Протопопов был — первейший избранник Думы, и глава её парламентской делегации, и его же хвалила и выдвигала вся печать союзников,— так что теперь остервенясь против Протопопова, Дума только разоблачала сама себя.

Однако... Однако всё-таки в глубине и с досадой Государь понимал, что выбор Протопопова совершён — не им. Как и несчастный выбор Хвостова-племянника, которому он так сопротивлялся в своё время, да не сумел сопротивиться до конца. Как и выбор Шуваева, Волжина, как многие другие выборы, которые потом пришлось с трудом переменять. Сколько раз Николай говорил Аликс: я не могу менять свои мнения каждые два месяца, это просто невыносимо!

А с другой стороны: кто умеет эти выборы делать безошибочно? Разве не проклятия эти топливо, руда, транспорт, продовольствие? — вечная забота, а уже перестаёшь соображать, где правда, и голова кругом идёт ото всего, что наслышишься от разных министров. Ты ни-

когда не бывал купцом, а цены растут, а надо думать о снабжении.

Зашевелилось, заточило в груди мучительно сейчас потому, что в эту киевскую поездку Мама́ говорила с ним строго: что нельзя до такой степени слушаться жену! Что всё общество — слишком накалено, и зачем делать только наперекор ему, зачем углублять конфликт?

Это правда, он очень слушался советов жены.

Но ведь и советы её в большинстве — поразительно верны! До чего она почти всегда права!

И — любил её за это. И — немного угнетался, что именно она всегда права, соображая раньше и решительнее его.

Её постоянная уверенность, однако, не могла же быть всегда безошибочной.

Оба чувства жили одновременно и прорастая друг друга. Уезжал в Ставку или провожал её из Ставки — и испытывал муку от разлуки и одновременно — облегчение военного человека, что попадает в свободный мужской мир. Но и тотчас начинал в письмах снова приглашать её и ускорял сроки, чем ближе приезд — тем нетерпеливей ожидание её милого присутствия, и одобрения, и сладких ласк,— и волновался, и с её приездом действительно наступало спокойствие на душе, и хотелось гнать прочь все заботы и неприятности. Но она сама же приступала с ними, и вместе легко выносились решения. А потом—Николай ощущал неловкость, что все главные решения приняты, когда они вместе. И снова был порыв у него — определиться в военной мужской свободе и принять ещё какие-то другие решения, уже одному. (И так он назначил в прошлом году Самарина — а потом две недели лишних перебывал в Ставке, чтобы спал гнев жены.) С новыми собеседниками или по новым докладам вскрывались новые стороны вещей, уже не в тех линиях, как видела Аликс. Но Государь принимал решение — а оно оказывалось потом неверно. И снова падала бодрость Николая, и он томился по новой встрече.

Существенной окраской многих советов Аликс было то, что они одобрены Григорием или им придуманы. В этом было и правильное — желанье всегда слышать трезвый голос народа, человека из народа. И милое — мила и понятна была Николаю жажда Аликс не останавливаться на наглядной поверхности вещей, но проникать в их мистический смысл и узнавать действия тайных сил. Вероятно, только таким и должно быть познание человека. Но по страстности Аликс в этой жажде проявилась такая чрезмерность, которая ощущалась Николаем как стеснительность, уже неловкость. То Григорий пересылал Государю цветы с горячим приветом, то отдельный цветок, то вина́ со своих именин, выпить как лекарство,— и каждый раз требовала Аликс, чтоб Государь благодарил (а на Пасху — телеграфно поздравлял в Покровское). Сперва Григорий подарил ему образ святого Николая, но затем дарил и другие иконы и образки (которые надо было держать в руках в решительный момент), и даже икону для передачи Алексееву (и ужасно неловко было вдруг передавать, но Аликс настаивала), а то ещё — гребешок, которым надо было причёсываться перед всяким трудным разговором и решением. Может быть, в таком гребешке и могла заключаться какая-то тайная сила. (Уж верней, чем когда-то в образе с колокольчиком, подаренным мсьё Филиппом, и будто бы колокольчик должен был зазвонить при каждом злом посетителе.) Но больше: настаивала Аликс, чтоб и перед всякой поездкой, отъездом в Ставку Николай получал бы личное благословение от Григория, как от священного лица, и даже, при долгом отсутствии,— специально приезжал бы в Царское, чтоб обновить такое благословение: прикосновение к груди Григория утишило бы горести и даровало бы мудрость свыше. Этого Николай не ощущал и поверить не мог. «Ты всё же — человек!» — напоминала Аликс. И настояла, что в письмах писала о Григории «Он» с большой буквы и «Друг» с большой, иначе грех. Внушала: думай больше о Григории, перед всякой трудной минутой проси

Его заступничества у Бога, мы должны прислушиваться к Его советам, они не легкомысленно высказываются, Бог Ему всё открывает, для чего-то Бог послал Его нам, Его молитвы нужны для Бэби, для нас, для царствования, для России. Аликс часто упрекала Николая, что он недостаточно обращает внимания на Его слова, уклоняется выполнять Его советы, она молилась, чтоб Государь лучше мог почувствовать: если б Его не было — всё могло бы случиться. Она очень настаивала, чтобы Государь пригласил Григория приехать в Ставку,— это должно было сразу дать решительный успех нашим войскам. В такое действие Николай тоже не верил, а из неловкости перед людским мнением и генерально-офицерским составом никак пригласить Григория не мог, но не мог запретить его прямых телеграмм в Ставку — то на имя гостящей государыни, то Вырубовой, то Воейкова, то прямо «Ставка. Вручить старшему.»

В этих оригинальных телеграммах была смесь крутизны народного языка, загадочной святости, но и непрояснённого смысла. Был в этих фразах какой-то терпкий народный запах, как от ржаного хлеба или квашеных яблок, что-то было, а не всегда поймёшь: «Ваша победа и ваш корабль.» «Все страхи ничто время крепости воля человека должна быть камнем.» (Это — специально Государю в назидание.) «Вы сказали моих никто не обидит а для чего это всё.» «Люблю вас удержите моего даже на Гороховой.» «Что нам в пользу, то дайте как волки овец ой не нужно твердыня это Бог.» «Напиши всем, чтобы чаще беседовали всё-таки дай власть одному чтобы работал разумом.» (Это — о министрах, и правильно.)

Чувство стеснительности было одним из самых развитых чувств Николая: он очень чётко ощущал всякую возникающую неловкость. Но и был всегда этой неловкостью так скован, что не умел прорвать. Он видел, что с Распутиным возникает какая-то заклиненность, и что иногда выглядит не вполне хорошо (а что-то — и вполне хорошо),— но уже нельзя выправиться. И деликатность и бережность к жене мешали высказать это ей вполне откровенно. Не то его смущало, что в понимании супруги главным авторитетом был сперва Григорий, затем она сама, лишь затем Государь, но то, что авторитет Григория непрерывно проявлялся в его велениях, а эти веления частенько заходили за край. Его молитвы, прозрения, угадывания, а то и просто сны указывали вдруг на то, что надо немедленно наступать возле Риги, то — не подниматься на Карпаты, то — подняться до зимы,— и всегда это были вещие видения, потому что, писала Аликс, «Бог дал Ему больше проницательности и разума, чем всем военным, вместе взятым». Григорий всегда знал лучше и нужные места наступлений (выговаривал, почему крупное зимнее наступление начали, не спросясь его), и нужные государственные назначения. То сочинял и передавал Государю 5 срочных важных государственных вопросов. То слал, в своих выражениях, проект телеграммы, которую нужно послать сербскому королю. То просил быть твёрже с министрами. То был против поездки Государя в Ставку, то упрекал, что он долго в отсутствии из Царского Села и надо приехать хоть на два дня для встречи. Как бы сердечный присматриватель, претендовал, почему в этот приезд царь мало с ним говорил, не сообщил, какие перемены готовит и о чём думает говорить с министрами. Как-то (ещё при жизни Столыпина) настаивал на открытом приёме у царя, чтобы подавить сплетни вокруг себя. (Но Государь никогда такого приёма ему не дал.) А Аликс внушала, чтобы Государь принял за правило: кто против Друга — тот против царя. Она требовала, чтобы Государь не только внутренне уважал и любил Его — но давал бы и почувствовать министрам и государственным людям, что нисколько не брезгует Им и хочет, чтобы те тоже к Нему прислушивались. Всякие неисполнившиеся предсказания Григория о сроках (например о сроках конца войны) Аликс тут же забывала — и чтоб не причинять ей острой боли, Государь не решался напоминать. Не-

удачные рекомендации Григория, как с Хвостовым-племянником, объясняла она тем, что Хвостов был хорош, но изменился впоследствии, и за это Друг не может отвечать.

Ещё передавал или при встречах всучивал Григорий много чьих-то ходатайств, прошений — о льготах или снятии наказаний, и чаще всего — в обход законов, чего Государь делать не мог, и эти пачки просьб тяготили его. Ещё же более тяготили передаваемые через Аликс желания Григория то прислать новую икону точно ко дню наступления, то особо-истово молиться в день наступления — и поэтому заранее этот день знать. Такие просьбы — прямо от Аликс и настойчивые, доставляли Государю страдания. Как человек природно-военный он понимал всю невозможность сообщать кому-либо вперёд наши военные намерения, места и сроки. Но боялся своим скептицизмом разрушить душевное равновесие жены, к тому ж фантастично было предположить, чтобы малограмотный сибирский мужик и искренний доброжелатель царской четы как-то злоупотребил бы этими сведениями в пользу врага,— он несомненно хотел молиться (и молитва могла помочь!). И Николай, через скрепу, через неохоту иногда в письмах к Аликс давал такие сведения, то — дату, когда нарушится затишье, или будет около Пинска диверсия, или время ввода гвардии в дело, или решение отменить всякое наступление на севере, чтобы беречь силы,— но чаще всего сопровождал горячей просьбой к Аликс хранить это про себя, чтоб не знала ни одна душа, ни даже Друг. И всё равно ощущал неприятное щекотанье от утекшего секрета.

Вот это не покидающее Николая сомнение, неуверенность, что отношения установлены все правильно (и безвыходность изменить их),— и растревожила снова Мама́ своим последним разговором.

А вслед за тем как Государь вернулся в Ставку и перенёс это дёрганье с протопоповским назначением — приехал уже давно просившийся на приём великий князь Николай Михайлович, двоюродный дядя царя. Во вторник, вчера вечером, Государь его принял.

Династия разрослась велика, немало в ней числилось и живых ещё дядей Государя, и двоюродных и троюродных братьев его, и, хотя по возрасту моложе многих, по положению своему и по ошибкам многих великих князей, Государь уже давно уверенно привык себя чувствовать отягчённым и ответственным главою династии.

И о самом Николае Михайловиче Государь не мог быть высокого мнения. Николай Михайлович отличался едва ли не дамской суетливостью и притом — кипливым честолюбием. Он делал порой шаги на государственной стезе, но неудачные, последний год прожужжал Государю уши, что надо создавать комиссию для выработки условий мира, которые Россия продиктует Германии (разделить ли только Австрию или Германию тоже?),— а сам он будет председатель этой комиссии. Не находя государственного исхода своим задаткам, дядя Николай с апломбом заявил себя историком незаурядным, чего Государь не находил: сам глубоко любя русскую историю и даже не имея лучшего предмета для чтения и размышления, Государь никак не черпал оттуда этой суеты и критики, как дядя Николай. А ещё Николай Михайлович ревновал к военной славе Николаши, своего двоюродного брата, и о нём наговаривал Государю дурное. В общем, Государь относился к Николаю Михайловичу скорее юмористически.

И ошибся. Визит 1 ноября оказался горький. Николай Михайлович, круглолысый, с посадистой головой, короткой шеей и чрезвычайной тщательностью линий усов и бороды, уже к обеду явился важный и хмурый, а когда уединились,— то очень напряжён, с подрагивающими руками. Он не дал установиться лёгкому родственному тону, но сразу стал декламировать возвышенно.

Уверен ли его племянник, что выполнит свою историческую задачу и доведёт войну до победного конца? Знает ли он об истинном по-

ложении в империи —и докладывают ли ему правду? И знает ли он, где кроется корень зла? Нет, его все обманывают.

По виду и тону значилось, что Николай-то Михайлович знает и истинное положение в империи, и всю правду, и корень зла.

Сразу оба занервничали и закурили — дядя папиросу, а Государь — через свой коленчатый пенково-янтарный мундштучок.

Сердце Государя сжалось тоскливым предчувствием: что Николай Михайлович сейчас ударит в ту же болевую точку, в которую уже нажала Мама́. Да, так и случилось. И дядя даже сослался, что к этому разговору он вдохновлён и поддержан — Мама́ и двумя сёстрами Государя. (И—сёстрами? Они-то зачем?..) Он осмелился заговорить прямо о государыне и прямо о Распутине. По его мнению, они и были корнем зла. Корнем зла было то, что обществу стал известен прежде скрытый метод назначения министров, а именно — через Распутина. Чтобы стать русским министром — надо понравиться мужику Распутину.

Николай Михайлович так нервничал, что у него всё время гасла папироса. Он не успевал найти теряемые спички, как Государь приближался и услужливо подавал ему прикурить от зажигалки. По внешнему виду Государя не было заметно никакого движения чувства.

А чувство было — и очень сжато-больное, чувство уже наболевшего места. Даже отделяя все преувеличения, которые резко нагромождал Николай Михайлович, — нельзя было отделаться, что тут много правды, стеснительно-унизительно.

Но к чему был безукоризненно воспитан и привычен Государь, как к части своего царского ремесла, — это никогда не показывать своих чувств. И он сохранял обезоруживающую любезность.

Николай Михайлович использовал такие выражения как «систематические нашёптывания твоей любимой супруги», «что исходит из её уст — есть результат ловкой подтасовки», — но что изменилось бы к лучшему, если бы Государь стал ему возражать?—бесполезно при его предубеждённости и непонимании всех тонкостей человеческих отношений. А властно оборвать? — и вовсе не служит убеждению старшего родственника. Да Николай и стеснялся бы проявить власть.

Итак, Государь всё выслушивал, не возражая, и подавал зажигалку в нужные минуты.

— Ты всегда сказывал, что тебя все кругом обманывают. А почему ты думаешь, что тебя не обманывает супруга, которую в свою очередь обманывают окружающие? Твои самостоятельные первые порывы и решения всегда замечательно верны, — скорее дипломатически льстил, чем так и думал Николай Михайлович. — Но как только появляются другие влияния — ты начинаешь колебаться, и решения уже не те. Если бы тебе удалось устранить это вторгательство тёмных сил — сразу бы началось возрождение России.

Вот в этом Государю позволительно было усомниться. Тёмных, противорусских сил он больше видел на стороне Думы и Союзов.

Но вслух не возразил. Да он и не умел вести дискуссий. Он хорошо умел разговаривать только с теми, с кем был согласен. А с остальными немел.

А под возрождением России Николай Михайлович оказывается и понимал: сделать министров ответственными перед Думой.

Не встречая возражений, он возвышал напорность тона. Странно выразился:

— Знай! Ты находишься накануне эры новых волнений! И, скажу больше: накануне эры новых покушений!

От кого-то он этого набрался? слышал? знал?

И, ещё более возбудясь:

— Здесь у тебя есть казаки, и много места в саду. Можешь приказать меня убить и закопать, никто не узнает. Но я должен был тебе это всё сказать.

Тирада была, видимо, у него приготовлена заранее — он её и про-

изнёс торжественно. Но сам заметил, что в любезной обстановке она прозвучала неуместно. Ещё потянул несколько папиросу, вздохнул и, всё не слыша возражений, упрекнул:

— Знаешь, ты великий шармёр. Ты напоминаешь мне Александра Первого.

Долго, долго, упречливо выговорясь и так и не дождясь ничего существенного в ответ, Николай Михайлович оставил заранее написанное письмо — всё о том же, но хотел вручить его непременно лично.

И только когда уже простились и проводил — по-настоящему стало расходиться и болеть в Государе.

Письмо — ему было даже гадко раскрыть и прочесть.

В ежедневном своём письме надо было писать об этом визите Аликс — но невыносимо, хотелось избежать.

Пришла пора спать — а сна не было. Всегда он крепко спал, но тут обещалась полубессонная ночь: на самом деле всё взбудоражилось и забилось внутри.

Ведь — и Мама́ была заодно, даже полномочила его говорить. И сестра Ольга (а ничего не сказала, прося о своём разводе и браке). И сестра Ксенья с мужем Сандро, таким близким другом когда-то. И ещё можно было угадать, с кем в династии они выстраивались во враждебное полукольцо.

«Эра покушений»! И это говорит великий князь!..

Да, против Распутина приходило много обвинительных писем в Ставку — но анонимные, и это не укрепляло их авторов. В инсинуациях цеплялась и царская семья — но никто из благородных людей не может верить подобной клевете, она обернётся против своих распространителей. А когда-то Джунковский докладывал о ресторанной попойке Распутина — но если по этому принципу карать, то многие ли уцелеют среди знати?

Что ж, Распутин мог иметь пороки, как и всякий человек. Но он не претендовал ни на какой официальный пост, ни на какой доход (а все великие князья получали). Частное дело царской четы, она имеет право на личные привязанности, даже пусть слабости, и кому это мешает? почему все придают такое большое значение? Ни с чем не сравнимая, вулканическая ненависть к Григорию, воспылавшая в высшем свете и в образованном обществе, могла объясняться только их собственной злостью; силы этой ненависти нечем было объяснить иначе. Встречно — Государь не мог ни перед кем унизиться в оправданиях, как много этот человек значил для укрепления духа императрицы. Николай сам не слишком был уверен, насколько именно Григорий излечивал наследника, но Аликс верила страстно, и это поддерживало её. (Да вот не так давно: не велел Григорий брать наследника в поездку на Юго-Западный, а отец взял. На одной станции Алексей прислонился лицом к вагонному стеклу, а переводили стрелки — и от сотрясения началось кровотечение из носа. Пришлось возвращаться в Царское, и сразу же позвали Григория — а он ведь *наказал,* не приехал в тот вечер, только утром.) Да ведь сама болезнь наследника никому не называлась, скрывалась тщательно — так что этой причины нельзя было и выставить.

А от бесед с Григорием Государь выносил твёрдое ощущение, что этот мужик кореннее смотрит на вещи, чем многие-многие государственные люди, царедворцы или великие князья. Это был бесхитростный правдивый представитель подлинного народа и знающий, что нужно народу. И очень бывало полезно и свежо прислушаться. Сколько раз он призывал остерегаться лишних потерь, не биться лбом — чего не понимали многие генералы, изукрашенные звёздами. И брусиловское наступление Григорий предлагал очень вовремя остановить, с тех пор действительно были только потери под Ковелем, а не продвижение. (Генералы у нас порой такие беспамятные, безразумные, даже идиоты,

не научившиеся азбуке военного искусства, что Государь приходил в полное отчаяние, — но что с ними было поделать? Уж какие есть.)

И очень возвышенно и даже красиво говорил Григорий на темы веры.

Но вот на днях неизбежно предстояла Государю ещё одна встреча с великим князем, на этот раз с Николашей: он непременно хотел приехать в Ставку — и невозможно было запретить такой приезд главнокомандующему Кавказским фронтом после 15-месячного отсутствия. (Аликс очень предупреждала против этого приезда, учила встретить холодно, твёрдо, не дать вырвать никакого обещанья.) Они не виделись даже дольше: сменяя Николашу в Ставке, Государь заменил встречу письмом, что он прощает Николашу за все ошибки, жертвы, неудачи и несчастья на фронте — и что не изменились любовь и доверие Государя к нему. На самом деле на жгучем рубеже лета 1915 года чувства обоих прошли через большое напряжение и пламень; и тот рубец ещё и сегодня не мог сгладиться и у Николаши, как и у Государя.

И хотя решение Государя возглавить армию было собственным, внутренним, давно затаённым, но в колебаниях того августа, при всеобщем сопротивлении, его воля могла и сломиться. И сегодня стеснительно было вспомнить слишком большую роль Григория в поддержке (Аликс всё напоминала, что именно Григорий спас тогда Россию). И Николаша тоже хорошо всё помнит, и, один из ярейших ненавистников Григория, очень может припомнить при встрече.

Теснилось сердце. Так приезд следующего великого князя обещал второе такое же неприятное объяснение, когда ни ответить, ни выразить ничего нельзя.

Из таких разговоров, приёмов, докладов, дел и состояла стеснённая, зажатая жизнь монарха. Как будто всевластный, не мог он выбирать ни — с кем говорить, ни — о чём.

Простор у него оставался очень малый. Снимать негодных генералов он тоже не мог — некем заменять и нельзя создавать хаоса. Направить военные действия вопреки мнению Алексеева и главнокомандующих — он тоже не мог. И из Могилёва он не мог уезжать свободно, особенно при неудачах, как сейчас в Румынии. Как приятно не чувствовать себя привязанным к одному месту! — но Государь не был так волен. В самом Могилёве распорядок его был разгорожен общими со свитой и союзными представителями завтраками, обедами, чаями, а ещё чередой приёма приезжающих, а ещё — совсем тесным садиком, где недоставало прогулки его сильному, молодому, отменно здоровому телу. (Доктор Боткин недавно нашёл, что его здоровье ещё лучше, чем два года назад.) И вынужденный жить постоянно в этой каменной городской клетке, Государь имел в Могилёве только одно настоящее утешение и раздолье, это—дневные прогулки: три времени года — автомобильные за город, а там на просторе нахаживаться вволю пешком, во время же большой воды в Днепре — любимая гребля. Хотя скоро уже пятьдесят лет, но впервые в Могилёве минувшею весною Николай был поражён таким зрелищем: после трёхдневного тумана над речною поймой — величественным днепровским ледоходом. Это зрелище — на всю жизнь. А затем — как было удержаться от гребли против быстрого течения?.. Спортивный задор! — Николай был первоклассный гребец. Собрали две двойки из моряков и всю весну гонялись! — а после гребли такая гибкость во всех членах. Затем — и на быстроходной моторной лодке. Старался больше быть на солнце, чтоб загореть и не походить на бледных штабных офицеров.

А сегодня стоял такой день: необычно тёплый, совсем не по ноябрю, безветренный, но и бессолнечный, даже тёмно-пасмурный, однако и дождь не накрапывал. Такая погода, очень мрачная, когда сидишь в городском помещении,— раскрывается за городом мягко-поэтично: почти всё уже осыпалось и от желтизны перешло в оловянное, а что-то ещё и держится на последних невидимых скрепах, до первого удара

ветра. Всё поднебное, подтучное пространство полей, не слишком далеко видное, выглядит как единый большой ласковый Божий дом. Тишина, безлюдье, все работы закончены, летние птицы тоже улетели, поля взрыхлены на зиму,— тепло и нежно прикоснуться к этой земле. Наткнулись на недокопанную картошку, отрыли даже без лопаты, развели костёр из сухого стебелья и пекли картошку. И костёр горел не большой, не ярый, тихая часть этого тихого дня. Хорошо сиделось вокруг и молчалось.

В такие минуты проклятую политику — совсем забывал Николай. Войны — не забыл, хорошо ощущал — и те далёкие отсюда окопы, вот в такой же земле, и не слышные сюда снарядные разрывы. Но Боже, как охотно он отдал бы и свой трон, если бы было кому, и Верховное Главнокомандование опять Николаше,— и стал бы простым солдатом одного из своих славных полков! — за право вот так сидеть у костра, обжигая пальцы зольною картошкой, ни над чем не измучиваться головой и грудью, но ждать на всё ясного приказа, а пока вести простые человеческие разговоры.

Николай не только не испытывал никакой сласти от власти и пышности, но любил жизнь тем больше, чем она проще обставлена и состоит.

Потянул ветерок, раздувая горячие золинки. Доели картошку, засыпали золу землёй, отряхнули руки и поехали в город.

По дороге ветер усиливался, к перемене. Такая задумчивая погода и не могла устоять.

Сын не ездил с отцом за город, потому что приболела нога. Но у него была сегодня своя забава: опробовалась прямая телефонная линия в Царское Село, и он пытался говорить с мамой. Ничего путём не вышло. Сам Государь ненавидел телефоны и предпочитал ими никогда не пользоваться.

А с ногой у Алексея было неважно: растяжение жилы и, как всегда у него от всякой неполадки, — сразу внутренняя опухоль, нарушение кровообращения. Доктор велел ему лечь. (А пять дней назад у него начиналось опасное кровотечение из носу, но к счастью удалось прижечь.)

И тут же узнал Государь, что разбаливается генерал Алексеев. Государь пошёл его проведать — но Алексеева предупредили, и он успел из постели встать. Государь бранил его, требовал тотчас лечь при нём, старик упирался. Это было затянувшееся недолеченное заболевание почек, теперь и с сильным жаром, и уже ясно было, что Алексееву нельзя продолжать работать, а надо ехать лечиться, уже несколько дней стоял вопрос о замене — и Алексеев неожиданно предложил командующего гвардейской армией генерала Гурко. Да главнокомандующего фронтом и отрывать было нельзя.

Но с Алексеевым — жалко было Государю расставаться. За 15 месяцев он очень к нему привык, так ладно и без споров шли у них ежедневные доклады, и всё руководство. Привык и к его мирному виду как бы гимназического захудалого учителя, да пожалуй даже чуть ли не чеховского Беликова, к его козырьку, наплюснутому на очки, простоватым не холёным усам, ворчливому говорку. Никогда не бывало гневной вспышки меж ними, резкого несогласия, как-то всё убедительно Алексеев обосновывал, а привязанности ко всем министрам, которых Государь постепенно выбирал, он и не мог требовать от начальника штаба. Правда, Алексеев непрерывно должен был иметь дело то с продовольствием, то с транспортом, то с металлом — и этим летом не выдержал, предложил создать пост «верховного министра государственной обороны», который распоряжался бы всем тылом, как Ставка фронтом, и Ставке бы иметь дело с одним таким министром. И много дельного было в этом проекте — но во что тогда превращался совет министров? и четыре Особых Совещания с общественностью? Это грозило новой ссорою с Думой, а зачем их зря дразнить? Так Государь

помялся над проектом и отложил его. Но это не испортило его отношений с Алексеевым.

— Да лягте же, Михал Васильевич, вот так, в сапогах, иначе я не буду с вами разговаривать.

— Уже сижу, трудней подняться, Ваше Величество.

Кресло у Алексеева было потёртое, простенькое, жёсткое, но на сиденьи всегда лежала вязаная подстилка.

Отношения их могли испортить, в эти же последние месяцы, письма Гучкова к Алексееву. Даже не допуская, что Алексеев на них как-то отвечал (а может быть?), обидно было Государю само сокрытие таких гадких, лживых писем: ведь получив — не показал, а спрятал в ящик (уверял, что — и не получал). И уже в столицах письмо Гучкова ходило по рукам, пока наконец его смогла достать Аликс и переслать мужу, только так он и узнал.

Это положило обиду между ними. И все-таки не испортило отношений. Государь любил этого старика-генерала. (Впрочем, и не старика, всего на 11 лет старше. Как раз завтра был день его рождения — и Государь помнил и приготовил подарок.)

Огорчён был Государь и тем, что с болезнью и отъездом Алексеева ему самому тем более уже никак никуда не удастся поездить. Значит, пусть Аликс на будущей неделе приедет сюда.

Ещё поговорили немного, и Алексеев, читавший сегодняшние газеты, сказал, что Дума вчера при открытии дурно себя вела.

Он не сказал о подробностях, а Государю было даже противно расспрашивать — и не менее противно идти брать в руки эти гадкие газеты и искать в строках милости или немилости Думы. Но он сразу рассеялся, расстроился, перестал улавливать тему их разговора. Ушёл.

Что же смотрит безобразный Родзянко, камергер, удостоенный орденами и почестями,— почему он не держит их в руках?

А ведь уговаривал Штюрмер: вообще не созывать Думу этой осенью, продлить её перерыв ещё на год, или совсем распустить, а следующей осенью ей переизбираться.

Но Государь считал такую меру недопустимой и неблагородной. Он всё же надеялся, что у думцев хватит национального сознания — не разжигать грызни и помех сейчас, дать спокойно окончить войну.

Расстроился. И обеспокоился. И не читая всех их тамошних речей — он уже заранее их представлял. И теперь искал тревожно: как же против них устаивать? Что делать с правительством? С этим составом — можно ли устоять? Или кого-то придётся уступить, чтоб успокоить Думу?

В самом правительстве не было дружности и взаимного доверия. Поодиночке, разными способами, в разное время подысканные министры не одобряли друг друга. Старый Трепов, Александр, с которым Государь разговаривал на днях в обратном поезде из Царского,— может быть мог бы стать новым премьером. Он был готов заменить Штюрмера, но непременно снять и Протопопова. Да наверно и Бобринского. (С тех пор Николай ещё не виделся с Аликс и в письмах ей ещё ничего не написал, побаивался, он обдумывал пока в одиночку.)

Как он надеялся в своё время на Штюрмера! Он надеялся, что его назначение грянет как гром. Как строго показывал он всем министрам, что Штюрмера надо уважать! И старик старался. И — честный, хороший, и неглупый старик. Но — кто может понравиться думской банде? Кто может против неё устоять?

Может быть Трепов, он жёсткий человек.

Но это вызовет гневный протест Аликс, даже страшно представить. Протопопова она ни за что не отдаст. (И Григорий...)

Протопопова и самому жаль уступить: с ним удивительно легко разговаривать и работать, нет в нём назойливой резкости слов и поступков (как бывало со Столыпиным: каждый разговор — напряжение

до муки), а Протопопов умеет оставить простор и догадке, случайности, вероятности, недоговору,— славный, лёгкий человек.

Да разве — эти уступки укрепят правительство и трон? А не покажут новую слабость?

Вереница министров, которыми он пожертвовал, пытаясь насытить Думу, протягивалась в его печальной памяти — и любимый Николай Маклаков, и умница Щегловитов, и честный Рухлов, и жизнерадостный Сухомлинов,— но даже своего военного министра — во время войны!— он разрешил отдать под суд! — всё равно как самого бы себя. (И до последнего дня не решался выпустить Сухомлинова на поруки.)

И всё равно не угодил нисколько. И только жарче и разъярённее наседали. Так для чего и уступал?

И положение стало казаться ему таким же нагромождённо-безвыходным, как летом Пятнадцатого года.

Погружённый в это мрачное размышление и во всей Ставке не имея, с кем бы поделиться, Государь между тем со сдержанным лицом отбывал распорядок дня и кого-то принимал,— эти процедурные приёмы изводили его, отбирая всё время и внимание. А на поздний вечер оставались — бумаги, бумаги.

Между тем у Бэби нога опухла хуже, поворачивал с болью, и смотрел привычно-печальными большими отцовскими глазами, не по возрасту привыкнув к своей горькой судьбе.

Когда Алексею подошло время спать, Николай помолился, став близ его постели, а Алексей повторял лёжа.

Они спали на походных кроватях в общей маленькой комнате, увешанной образками и крестиками,— и всю ночь отцу были слышны, под вой ветра снаружи, стоны мальчика здесь.

От этих стонов отец готов был рыдать или бежать куда-нибудь.

Сильный толкающий ветер перешёл в ливень и как будто со снежинками.

70

Не поверить, как всё изменилось за ночь: тот вчерашний тёпло-безумный ураган успел похолодать, вылить ливень, засыпать Могилёв снегом — и успокоиться к утру в пятиградусном морозце. Да столько снегу сразу навалило, что по Губернаторской площади пробивали люди тропки наискосок, а дворники ещё не справились. Кой-где промелькивали первые поспешные сани с бубенчиками, а колёсные ещё торили свою колею, и автомобили недовольно фырчали, разметывая снежную пыль и занося задом.

Но чем неожиданней, тем сильней действовал на душу этот вывал зимы — обеляющий, очищающий, зовущий к какой-то новой строгости. Уже таким смятенным, да и растерянным, да и счастливым, как вчера, Воротынцеву не быть, не мог оставаться. Да и пора было ему очнуться от своей круговертной стыдной поездки. Ничего не решил, ничего не сделал, и никак иначе не очнуться, как возвращаться в полк.

Проснулся бодрый, сильный, и, при всей полноте Ольдой,— сразу вспомнил о Гурко: и времени нет оставаться дальше дожидаться — и как бы его увидеть, поговорить?

И если б не ждал, то не узнал, а так во дворе штабного собрания сразу выделил знакомую спину совсем невысокого генерала с решительным настигающим шагом и несколько увеличенным размахом рук. Это был он! — всегда много дела, заботы серьёзные, расслабляться и мешкать не приходится.

Хотел на глаза ему тут же попасться — не сноровил. Пошёл к столу.

Всё, как Свечин предсказывал! Неужели ж?..

А в офицерской столовой гудела сенсация снова, уже не по телефону полученная, но лично кем-то привезенная из Петрограда: позавчера в Думе Милюков, *имея документы на руках, доказал предательство царицы*!! А уж Милюков зря не скажет! Учёный, историк, он-то знает цену доказательствам!

Передавали газеты. В них этого не было ничего, конечно, но зловеще и беспомощно зияли в колонках «белые места» — как простреленные раны в боках власти.

Гудела столовая, и самые законопослушные и самые равнодушные были потрясены. Если царица прямо передаёт немцам секреты Верховного Главнокомандования — то как же нам всем воевать?..

Некоторые злорадствовали. Царицу — не любили.

Вспоминали и Николая Николаевича, как он давно говорил: в монастырь её!

А Воротынцев вспомнил тёмные солдатские разговоры — всего лишь по слухам ползущим и искажённые беззащитным представлением. Что же взбаламутится теперь, когда дойдёт открыто, когда и офицер должен подтвердить, что в Думе, да, названо: царица — изменница? Офицеры могут съезжаться в штабы, советоваться, хвататься за шашки — а солдату со дна окопа не высунуться, не отойти,— и каково это всё ему? Да ведь он винтовку выронит. Да зачем же ему теперь под пулемёты?

Очень свободно, даже мятежно разговаривали. Знает ли Государь? Что он будет делать теперь? Ясно, что правительство будет меняться. Милюков должен быть очень уверен в своей позиции, если выступил с такой резкостью. Двор — должен сдаться. И наступят перемены!

А что делать — нам? Никто ни к чему не склонялся, ничего прямого не предлагал, а — рассуждали, рассуждали...

Воротынцев возвысил голос на несколько соседних столов:

— А — где измена? В чём? Кто из нас, господа, где видел случаи измены? Когда?

Никто не взялся ответить. Выслушали — и гудели, каждый себе.

Будь Воротынцев нисколько не подготовлен к мыслям о перевороте — он сейчас бы мог закипеть первее всех. Но уже отдумавши о том несколько недель, отведав на зуб крепость ответных аргументов, он пребывал вне решительности или гораздо дальше от неё, чем отъезжая из Румынии.

Неподатливый сапёрный полковник слушал-слушал:

— Да суду его предать за такую речь, мерзавца! У нас — всё безнаказанно. Бабьи сплетники, а не народные представители.

Один подполковник сказал, с видом будто знал: что Думу через несколько дней и разгонят. Что Штюрмер уже едет в Ставку получить подпись Государя на разгон.

Также и тут никто не осведомился: откуда?.. Наступило время такое: кто что слышал. И большей частью передавали верно.

Так же и у Воротынцева был свой тайный источник. Сразу после завтрака пошёл к Свечину:

— Так приехал Гурочка! Я видел сам!

— Поздно вечером, да. И ночью сидел у старика.— Свечин качал неровным булыжником головы.— Старик плох, температура высокая. Но и хуже новость: Живой Труп в Ставку приехал. Вчера же.

Воротынцева взяло гадливостью, как проглотил скользкое:

— Откуда?? Он же во Франции!

— Наверно в Петрограде был. С каким-то докладом придуманным. Как мадмуазелям ордена прикалывал.

— На Алексеева летит? На свободное место?! — взревел Воротынцев.

— Безусловно. Эти вороны чуют далеко.

— Нахальство какое! Бессовестность какая! — расходился по малому кабинету.— Жилинский! Сейчас? Во главу всей армии?! Но ведь это же — конец!! Тогда — жить нельзя!! Тогда — ни минуты терпеть нельзя! А ты говоришь! Вот и нужно меры принимать! Самим! А то — так и будут назначать!

Сшибало надежды, обрезало по макушкам.

— Ну, не горячись. Репутация Жилинского всё же подмочена, не добавлять ещё к Штюрмеру и к Распутину. Мы теперь к репутациям чувствительней стали. Да и Михал Васильич, я думаю, ни за что не допустит, заманеврирует. Скорее сам лечиться не поедет, тут и умрёт, за столом.

Пошли в другое здание, в дом дежурства, искать Гурко.

В одной из малозначительных комнат нашли. Он! — остроусый, остроглазый, с подвижной быстрой головой. Сидел за столом, однако не вовсе письменным, и не своим, и даже на проходе, как случайный гость. На нём были кавалерийские погоны и два георгиевских креста, на груди и на шее, а прочих всех знаков не носил, как и академических аксельбантов, лишней путаницы, хотя и генштабист уже четверть века. И ещё несколько старших офицеров, не отнесенных к этой комнате, собрались тут с ним — не по службе, а по симпатии. Не было папок, подшитых приказов, ни даже карт, всех обязательных принадлежностей штабной работы, а — случайная стопка чистых листов, на которых и писали, черкали и считали, кому придётся и с какой придётся стороны. Гурко, с первыми-первыми серебринками на откиде густых прямых тёмных волос, взглянул, приподнялся, быстро приветливо пожал руку Свечину и Воротынцеву, нисколько им не удивясь, ни о чём не расспрашивая, а своим голосиной звонким сдерживаемым — не по росту генерала и не по этой комнате, а в ином бы месте развернуть его в иерихонское трубенье,— продолжал увлечённый разговор с офицерами, тон которого вошедшие быстро поняли и приняли. Совершенно не касаясь, почему именно здесь, сегодня, и именно с генералом Гурко это обсуждается, тут взвешивали соображения и цифры, по такой идее генерала: в короткое время зимнего затишья, за несколько месяцев, возможно ли (уже до их прихода было решено, что — возможно), и — какими лучшими приёмами, и используя какие резервы, перестроить все полки русской армии от Балтийского до Чёрного моря из четырёхбатальонного состава в трёхбатальонный — и притом не дав противнику почувствовать ослабления военных действий? Выгоды замысла были очевидны: трёхбатальонные полки с самого начала были у немцев; так избегалось лишнее наполнение окопов поражаемой пассивной живой силой. Так можно было выиграть 48 новых дивизий или освободить только из первой линии больше миллиона человек.

Любимая мысль Воротынцева! — армию сократить? Схватился он, приник!

Выгоды были очевидны, но решиться делать так в третью зиму многогроможднённой войны мог только генерал отчаянный, покоя не ищущий, да возвышением своим не дорожа, от должности не та́я,— и только через то могущий получить полную свободу рук, независимость от Государя и ото всех, кто толкунцом мошкары вокруг него обращается.

Но именно таков и был 52-летний младший сын знаменитого Иосифа Гурко, фельдмаршала последней турецкой войны, штурмовавшего горы. Признаком подлинного полководца в Василии Гурко было то, что он никогда не останавливал свою деятельность на исполнении приказов и на границах своих обязанностей, но из каждого боевого случая, но из опыта своих частей и своих боёв не упускал извлекать опыт всеобщий и предлагать его всем. Так, уже седьмым изданием выходила его брошюра-инструкция о ведении позиционной войны на русском фронте — и шла нарасхват. И вот теперь, ещё и не назначенный начальником штаба Верховного, и всего-то на несколько недель, он не

видел другого смысла своего взлёта, как произвести перестройку всей армии на полном ходу! — и именно сейчас, немедленно, чтобы снизить потери сегодня, чтобы выиграть войну завтра, а не ожидать благосклонных послевоенных канцелярий и комитетов.

Такой замысел не мог не захватить! Свечин побыл и должен был уйти, а Воротынцев уже через пять минут добыл себе табуретку, придвинул к тому же столу и на тех же листах, вместе со всеми, писал, считал, чертил и спорил, как будто для того и шёл, для того был зван. Курили, говорили, доказывали, никакого внимания не обращая на чины, будто одинаковы с полным генералом и его адъютантом-ротмистром. Примерялись строгие быстрые глаза Гурко, сдержанный звонкопрерывистый голос называл, выбирал варианты, а Воротынцеву — жарко было, он просто пылал от счастья, давно-давно не прикасавшись к такой настоящей штабной работе!

Радость работы с талантливым человеком! Чем Гурко был замечателен: он поразительно быстро схватывал суть всякого дела, давал себя и переубедить, не упорствовал, — затем принимал ясное определённое решение, а уже в пределах задачи не вмешивался в мелочи.

Проблема быстро расширялась, не так легко её ограничить. Оставлять ли тогда дивизию из четырёх полков? А корпус из двух дивизий? Или единообразно всё по три? Упразднить до конца ненужные пехотные бригады? А артиллерию? Давно пора и батареи из шестиорудийных сделать по четыре: тоже простой стволов, тоже избыточный расход снарядов. Но осилить ли две переформировки сразу? И на пехотную дивизию нельзя оставить ослабленную до 24 пушек артиллерийскую бригаду. А удвоить число бригад? — надо пушки просить у союзников, не дадут. А бинокли, стереотрубы, буссоли, телефоны?..

Всю жизнь Воротынцев влёкся к решительным людям и отвращался от мямль. Решительнее же Гурко нельзя было даже вообразить. По его худому подвижному занятому лицу, по его оценкам в полслова можно было оценить и его самого. И как свободен от изумления, потупленности, потерянности перед внезапным резким расширением обязанностей, как естественно прирастает к новому назначению, ещё даже не назначенный! — как растение молча и просто растёт, не умея не расти. Только бы не удались козни Жилинского, только бы не передумал вечно переклончивый неверный Государь! Вот наконец своевременный человек, приходящий на своё прирождённое место! С такой быстротой и дерзостью ему подействовать бы год. Как ни уменьшились возможности полководца, а необходимость в нём не уменьшилась. Этому генералу год посидеть в Ставке — и русская армия победоносно кончит всемирную войну. Отсюда кажется, да: не проиграли мы ничего! Прав Свечин.

И что, в самом деле, дал так опуститься своим рукам?

Сам из того же материала, Воротынцев несоревновательно оценивал генерала Гурко через потресканный крашеный неписьменный стол бывшего окружного суда, оценивал — только с желанием въединиться в деятельный хвост его кометы.

Идя сюда, Воротынцев ещё удерживал затаённый смысл, даже построил вход: в Петрограде он встретился с Гучковым, вспоминали всех, и Гучков с особенным расположением и вниманием расспрашивал о Гурко. (И то не ложь, то — угаданная правда: говорили о кандидатах на алексеевское место, а если б Свечин уже в тот день мог назвать Гурко — разве меньше заволновался, заходил бы по кабинету Гучков? разве не в ту же связь поставил бы он назначение? не с теми же мыслями искал бы увидеться? Придумать так — даже долг перед Гучковым, неразгруженная обязанность перед ним.) Выразить это со значением — и вглядываться, высматривать в генерале встречную склонность?..

А сейчас тут показалось: зачем? Так сразу захватили расчёты по перестройке дивизии, что тот гучковский задний план, тускневший с тех

пор, вот сам опрокинулся и окончательно погас. Реальная работа лежала на столе. Она — вмиг возвращала вечно-деятельное состояние с вечно-бодрым настроением. И конечно так же, десятикратно так же, должен был чувствовать Гурко. Даже заикнуться ему о том было бы стыдно, неловко, невозможно. Служить надо, лямку тянуть, а не под ногами мешаться.

Сжатый, решительный рот генерала, природное естественное состояние суровости грозно исключали даже касание раз навсегда данной присяги.

После Свечина ушёл ещё один офицер, потом другой, а ещё один пришёл, — Воротынцев же, как сел, так и не уходил: весь день у него был свободен и ничего лучшего он себе не желал.

Всю реорганизацию они додумали, и на многих листах расписали по родам работ, по принадлежности исполнения, по числам, составам. Можно было и подробней, и дальше, но затрагивался, подымался уже миллионный счёт: где людская неисчерпаемость России? Куда провалились наши миллионы? Полевой интендант кормит на фронте 6 миллионов, а бойцов насчитываем только 2. Значит, 4 миллиона обслуживают, а не воюют? Как это вычерпать? Или: тыл считает, что дал армии 14 миллионов, во всех видах потерь убыло 6. Так должно остаться 8, а их 6. Где же 2?

Потом — с кавалерийским генералом! — о судьбе кавалерии, всё меньше нужной на войне, всё больше сглатывающей зерна, когда нет его, и самих лошадей миллионы, пригодились бы в тылу. И об армейском провианте: круп, сахара и мяса — ещё вдосталь, а муку плохо везут.

Наконец, и о Румынии, — румынские заботы совсем не чужды оказались Гурко, даже очень давили на него, да его Особая армия (называлась так гвардейская, чтобы не быть 13-й) стояла ведь на Юго-Западном. Проблемы румынские он отлично понимал: при перемешанных по фронту русских и нестойких румынских частях — как держать фронт? Сколько можно ещё удержать? Очень понимал Гурко эту беду и проклятье, свалившиеся на нас: союз с доблестной Румынией.

Подходило время царского обеда — Гурко по какой-то ошибке не оказался приглашён к императорскому столу. И Воротынцев испугался: неужели это интриги Жилинского? неужели оттеснил уже?

Но не хотелось верить. Нет, наверно просто кто-то не знал, не распорядился.

А вообще — ох, наберётся с ним император хлопот! Его не пригнёшь, не изогнёшь и приглашением к высочайшему столу не посахаришь, — а всегда услышит Государь правду матку. И каждый свой временный день этот неслух будет вести себя как назначенный пожизненно. Ещё от его голоса заложит уши его величеству. Однако — назначайте, назначайте же скорей!

Ротмистр пока добыл в двух тарелках чего-то сухомятного, и они, вчетвером, жевали между делом. И теперь уже не подразумеваемо, а открыто поминая своё возможное назначение, Гурко пожалел, что придётся работать всё с новыми, а в каждом месте за этот год, что его стремительно протягивали через корпус, Пятую армию, Северный фронт, Особую армию, — везде он находил и привлекал неоценимых офицеров, и многие просились за ним при каждом переходе, и многих он охотно перетянул бы сюда, того же генерала Миллера из Пятой, а — нельзя, неприлично, суетно.

И тем самым Воротынцев понял, что сюда, в Ставку, его не зовут, что вот этим увлечённым счастливым днём всё и кончится.

А впрочем, тут же это повернулось и с разумной необходимостью: теперь, уже зная весь смысл и приёмы реорганизации, Воротынцеву и надо оставаться именно у себя, там, на краю, и там работать по этой программе, только уже в штабе своей Девятой, которую будут скоро

увеличивать из-за негодности румын, слать туда корпуса. Гурко пришлёт распоряжение, как только заступит.

Если заступит.

Ну что ж, как часть единой реформы освещался и дальний румынский угол...

Этот — будет жалеть русскую кровь.

Да Воротынцев и не собирался в Ставку, это Свечин сбивал, уговаривал.

Ещё недавно ему казалось, что до конца войны он так и не уйдёт с позиций, и не хочет даже. А от этой поездки — расслабел, и теперь вдруг обрадовался льготе. Правда: переустал он от полка.

Уж когда выходили вместе, Гурко надевал свою шинель на общеофицерской серой, а не генеральской красной подкладке, Воротынцев, повинуясь всё-таки не отданному долгу, петроградской своей вине перед Гучковым, неожиданно высказал версию о встрече с ним и привете, — и всё-таки посмотрел, посмотрел на строгого генерала, испытывая в **том** смысле.

Но Гурко — не выразил большого тепла, даже почти никакого. Поджал губу под усами.

— Александр Иваныч... Александр Иваныч... Очень смел... Очень настойчив. При всех своих, — что-то качкое показал кистью, — убеждениях. Но... Из-за того, что много ездил волонтёром и просто по фронтам, сильно преувеличил своё понимание войны и армейских проблем. Масса знакомых у него в армии, не всегда лучшие, вроде этого фельетониста Новицкого. Все ему что-то рассказывают, обо всём наслышано... И вот он...

И подумал Воротынцев: а для Гурко на его новом посту Гучков — разве не груз? Можно не дорожить должностью, можно дерзить царю — но по делу, но для дела, а Гучков если уж на Алексеева тенью пал, так на Гурко — тем более, сколько связано в прошлом. Приедь сейчас Гучков в Ставку — ка́к станет выглядеть всё это назначение, вся эта подстановка со стороны Алексеева?

И Воротынцев не щеками, но внутренне покраснел: и что за вздор, правда? И до каких пор носиться с этим отозревшим младотуречеством?

А какая-то вмятинка от Гучкова — всё же на совести осталась.
Крымова — повидать? не повидать?

71

(Государственная Дума, 3 и 4 ноября)

Думские первоноябрьские речи вышли в газетах с белыми местами, с пропусками даже у Левашова и Балашова. Пошли по рукам апокрифические, несхожие тексты, и ловкачи продавали их по нескольку рублей. Истинного текста милюковской речи даже правительство не могло получить от Думы, зато по стране распространялся именно он, и даже с добавлениями. Всё *общество* говорило, что Думу надо беречь. (Бурцев, искатель и дегустатор тайн, затем обратился к Милюкову: откуда он взял свои факты, больше похожие на неправду. Ответил ему Милюков, что взял их из Neue Freie Presse; что, может быть, они нуждались ещё в проверке, но он должен был употребить их раньше социалистов.)

А Родзянко, отлучаясь с председательского места, предвидел правильно: ночью на 2 ноября он получил записку от Штюрмера — тот ждёт решений Председателя Думы об оскорблении царской фамилии в заседании; и тут же — письмо от министра Двора; напоминает, что Родзянко — камергер, и просит уведомить, какие шаги...

Какие ж... Изъять это место из стенограммы. И — пожертвовать Варун-Секретом, хотя и жаль Варуна. И тут же оправдаться перед обществом: дать заявление в

газеты, что пропуски в речах — не по его вине, он передаёт в бюро печати все речи полностью. Родзянко нисколько не интриган, напротив — он очень склонен к прямоте. Но сознавая себя живою Думой на двух ногах, он вынужден, для России, оберегать себя от риска. Когда в 3-й Думе Гучков готовил запрос о Распутине, Родзянко, уже тогда Председатель, тайно предуведомил царя. Теперь — не шёл предупреждать, а поберечься — надо было.

И вот, благодаря своему предвидению и осторожности, «самый большой и толстый человек России» (по выражению Государя), *Самовар, Барабан* (по думской кличке), сегодня опять уверенно всходит на председательскую башню. Зал успокаивается. Правительство, как завелось, отсутствует, не ищет столкновения, это не столыпинские времена. В ложе министров сидят только помощники их. Хоры публики переполнены гуще позавчерашнего, говорят — даже Шаляпин тут. Ждут нового скандала, особенно набитая ложа прессы.

Всё же — открыть заседание предстоит повинному, оплошному Варуну. Почитали разные скучные бумаги о принятых законопроектах, перечли нерадивых членов Думы, пропускавших заседания, а дальше — не отвертеться, не оттянуть:

> Варун-Секрет: Господа члены Государственной Думы! В заседании 1 ноября депутат Милюков допустил цитату из немецких газет, касающуюся лиц, упоминание которых здесь не принято, а суждение недопустимо. Не владея немецким, я не применил цензуру председателя, предусмотренную наказом. Теперь эта часть стенограммы устранена, тем не менее не могу не признать себя виновным в упущении и приношу Думе своё извинение. Считаю своим долгом сложить полномочия Товарища Председателя.
>
> Керенский (с места): Ходить в Каноссу унизительно!

(Какой вкус, какая точность сравнения!)

Невредимый, полнотелый Родзянко, купаясь в общей любви и радости Думы, заступает председательствовать, сдерживая свой колокольный бас.

Прения — о чём? Не уйти ли правительству? Хорошо ли оно? Такого вопроса не может быть в повестке дня. Прения — по сообщению бюджетной комиссии.

Тонкий, остренький, пикоусый, не без франтовства, но милого, благовоспитанный, обдуманный (как сплёл думский стихотворец Пуришкевич:

Твой голос тих и вид твой робок,
Но чёрт сидит в тебе, Шульгин),

когда-то очень правый, а вот уже «прогрессивный националист», — выходит, волнуясь, понимая особенность дня, и чувствуя это напряжённое, театральное внимание публики, ещё и сегодня ждущее взрывов, —

> Шульгин: Не с лёгким чувством я начинаю сегодня свою беседу с вами. Я не принадлежу к тем рядам, для кого борьба с властью есть дело привычное, давнишнее. Наоборот, в нашем мировоззрении даже дурная власть лучше безвластья. Особенно осторожно надо относиться к власти во время войны. Поэтому мы терпели бы до последнего предела...

Однако, ораторы раскачивают ораторов, дух соревнования разожжён, и почти непереносимо смолчать человеку, чьи чувства очень склонны к романтике.

> И если мы сейчас подымаем против этой власти знамя борьбы, то потому, что действительно мы дошли до предела, дальше переносить невозможно. (Слева: «Браво!») Люди, которые бестрепетно смотрели в глаза Гинденбургу, затрепетали перед Штюрмером? (Смех, рукоплескания, кроме крайних правых.) В этих условиях молчать — было бы самым опасным. О, если бы эта власть шла туда же, куда и мы, хотя бы по-русски, то есть кое-как! — мы бы старались объяснить населению, что она добредёт до желанного конца. Но осталось у нас одно средство; бороться с этой властью, пока она не уйдет! (Слева: «Браво!» Рукоплещет весь зал, кроме крайних правых.)

Это даже сильней и страшней выглядит, чем Милюков, потому что выступает известный монархист. Если уж так сдвинулось — больше нет терпенья, и что-то произойдёт! — сейчас в зале или вообще что-то. Электричество в публике. («Яркий нервирующий свет... ах, эти речи... страшно говорить... слушает вся Россия...»)

И такая борьба—единственный способ предотвратить, чего больше всего следует бояться,—анархию и безвластие. Тогда и офицеры на фронте более уверенно поведут свои роты в атаку, ибо будут знать, что Государственная Дума борется со зловещей тенью. И уполномоченный и земство увереннее закупят и повезут хлеб, зная, что он не просыплется в щель между министерством земледелия и министерством внутренних дел. И рабочие, в руках которых наполовину судьба России, будут усерднее стоять у своих станков. И даже когда в их мастерские будут врываться банды: «Забастуйте для борьбы с правительством!», рабочие ответят: «Прочь, провокаторы! С правительством борется за Россию Государственная Дума, а если будем бороться мы забастовками, то это будет борьба за Германию». (Рукоплескания.) Господа, а как же можем мы бороться? Только одним пока: говорить правду, как она есть!

Здесь были произнесены тяжкие обвинения. Но ужас не в них, а — как их встретили. Ужас в том, что председатель совета министров не придёт сюда дать объяснения, опровергнуть обвинения.

что правительство даже не находит силы защищаться, даже не приходит в зал, когда его обвиняют в измене.

(А почему, правда? Почему Штюрмер не пришёл оправдаться? Та заклятая степень отчуждённости, когда уже и разговаривать лицом к лицу упущено, — и тем резче думские речи.

Штюрмер: Если бы я был там, я бы сказал, что никаких взяток не брал, не делил. Но, к сожалению, я не мог этого сделать. Озлобление было настолько сильное, что я не мог и думать выходить на кафедру, не подвергаясь нежелательным выходкам.

Та степень отчуждённости, когда «подавитель» ещё больше перепуган, чем «давимый», когда власть крадётся по задворкам. Ни в измене, ни во взятках не виновный, ничего от Манасевича не бравший, Штюрмер только и осмелился пытаться подать на Милюкова в суд.)

А вместо этого устраивает судебную кляузу с депутатом Милюковым. Господа! Штюрмер — это продовольственная разруха, безнаказанность Сухомлинова, и боимся, что это — только заглавие к той сатанинской грамоте, в которой изложится программа позора и гибели России! (Продолжительные бурные рукоплескания всего зала, кроме крайних правых. «Браво!»)

(В эмиграции, в 1924, вспомнит Шульгин:

Мы были слишком талантливы в наших словесных упражнениях. Нам слишком верили, что правительство никуда не годно.)

В Думе — четыреста сорок депутатов, но иные из них все четыре года так и промалчивают: сидят крестьяне, протоиереи, земские врачи, казаки, профессора и предводители дворянства, усы да бороды поглаживают, только слушают. Зато по понятному всем церемониалу лидеры фракций и отколовшихся групп — так и идут, идут через трибуну, повторной чередой.

Вот — буйный раскольник Блока, лидер прогрессистов, почётный мировой судья и попечитель гимназий, взъерошенный дончак

Ефремов: Пагубность существующей политической системы, бездарность и бессилие носителей власти... Правительство, которому страна не верит... Быть может, за всё время своего исторического существования власть никогда не представляла собой картину такого ужасающего развала, такого беспросветного убожества, полного непонимания национальных задач.

(Он говорит честно, уверенно, он так видит. Но пройдёт полвека — и так же уверенно не увидит исследователь ни ужасающего развала, ни полного непонимания: современники были в самогипнозе.)

В такое критическое время знать, молчать, бездействовать в невежестве и всё же оставаться у власти есть преступное забвение долга перед родиной, *граничащее с предательством!* Слухи о возможности сепаратного мира грозят изолировать Россию в семье культурных народов. Самая мысль о сепаратном мире есть уже измена России. Кто дерзнёт

стремиться к его заключению, навлечёт на себя народную месть как предатель отечества!

(Поживём — проверим.)

Народ должен глубоко задуматься. Закулисные интриги, тайные влияния проходимцев, старцев, сомнительных дельцов. явных и тайных друзей Германии. (Рукоплескания в центре и слева.) Невозможно ограничиться сменою лиц,

на чём и разошлись с Блоком, —

необходимо коренное изменение *всей нашей политической системы*! Правительство, ответственное перед Думой! Снять путы с русского народа! (Рукоплескания.)

Дальше — круче, оратор раскачивает оратора, это — качели, и они взлетают даже повыше, чем хотел лидер большинства, чем хочет монументальный Председатель, опять встревоженный. Вот вымётывается на трибуну — в черкеске с газырями, в погонах подъесаула (ах, оселедец первых дней войны! — сострижен, сросся с волосами), только что с фронта (а ещё более — показать, что с фронта), терский лихой и левый казак, сполошный, бестолковый, отчасти и любимый думский шут

Караулов: Господа Государственная Дума! В бурных волнах горячих речей прошлого заседания потонул исходный факт: неявка министров в заседание бюджетной комиссии. Комиссия заключила, что продовольственная разруха грозит свести на нет всю пролитую на фронте кровь, Штюрмер же ответил, что не находит возможным явиться в бюджетную комиссию. Мы должны неотложно установить ответственность министров перед Думой. Настоящее правительство при его безответственности не только никогда не создаст великой России, но погубит и существующую. Но я не предполагал, что угроза гибели так близка. Мы должны вмешаться и разбить роковую цепь событий!

Вполне как скачка на коне, как сабельная рубка: дух захватывает, земли не чуешь — несёт! несёт! — и машет сама рука.

Во вторник было брошено с этой трибуны ужасное обвинение правительству, — а что вы делали в среду? В тех же Особых Совещаниях с представителями того же правительства обсуждали те же вопросы, что и до вторника. Я хочу обратить ваш негодующий взор в неожиданную для вас сторону. Если Вильгельм имеет союзников среди нашего правительства, то и правительство имеет своих союзников — внутри нас: это — наше бездействие, безволие, нерешительность. Правительство сильно исключительно нашей слабостью! Не из нашей ли среды раздался год назад лозунг: «не перепрягать лошадей при переправе через реку»?

Лихой терец готов и в горной реке их перепрячь.

Не из нашей ли среды вышел эффективный, но ложный аргумент о преступном шофёре, направляющем в пропасть мотор, где сидит наша родина-мать?

Отличник Маклаков даёт себе мало труда улыбнуться, снисходительно к напористому казаку.

Не нами ли проведен нелепейший мясопустный закон, когда все вопросы о свободах лежат в забвении? Господа, неужели вы не видите, что нынешнее правительство — призрак, тень скользящая, что в нашей робости источник его храбрости, и оно тем крепче, чем больше мы упускаем времени? Правительство вполне уверено, что вы дальше горьких слов не пойдёте, а на деле ни в чём ему не откажете. Всё ваше негодование — только истерические вопли, вы отдали управление государственной колесницей, перелезли с облучка в кузов и просыпаетесь только от толчков на ухабах. А страна ждёт от нас дела, дела и дела! Что же нам делать, спросите вы? (Слева: «Поучите!» Справа смех.) Сейчас научим. Я всегда утверждал, что при спокойном рассудительном отношении не бывает безвыходного положения; я всегда утверждал, что из всякого положения может быть найдено по крайней мере три выхода. (Смех.) А из нынешнего я вижу даже четыре. («Ого!» Смех.) Я

не говорю уже о пятом и шестом, которые сами собой напрашиваются: или нас разогнать или Штюрмера уволить. *Первый* выход: раз для нас стало ясно, что правительство ведёт государство к позорной гибели, то просить нашего Председателя испросить у Его Величества аудиенцию и представить на благовоззрение... Скажут: неконституционно! Дело ваше, господа. *Второй* выход вполне конституционный: прекратить всякие отношения с правительством! Объявить бойкот министрам, не приглашать их в Думу.

Родзянко: Член Государственной Думы Караулов, не приглашать министров нельзя, это их право.

Караулов: Их право являться, но не наша обязанность приглашать их.

Родзянко: Прошу вас с замечаниями Председателя не спорить.

Караулов: Слушаю-с. Итак, господа, оставим пока министров в покое. (Смех.) Но в нашей власти — отвергнуть в целом весь бюджет на 1917 год! И все законопроекты, которые представлены комиссиями, — к отвержению! (Замысловский: «И уехать домой.») Вы, может быть, домой, а я — на фронт, и буду там полезнее, чем здесь, попусту терять слова.

Родзянко: Я буду вынужден лишить вас слова.

Караулов спешит с главным:

Третий исход, я боюсь вы этим третьим путём и пойдёте: испугавшись разгона Думы, выдадите боярина Милюкова головой боярину Штюрмеру, будете ловить слухи в кулуарах, считать копейки в бюджетной комиссии и охать, что десятки миллиардов проходят вне вашего контроля.

Четвёртый же путь, господа депутаты... Нет, о четвёртом пути я скажу не вам и не здесь. Этим путём пойдёт сама страна, когда потеряет свою последнюю надежду — на вас! (Рукоплескания слева.)

Это — с таким значением обещано, что: Караулов, очевидно, с кем-то связан, что-то *знает*, да и — какие-то нити у него в руках?

А ещё такой в Думе церемониал — отдавать трибуну представителям национальностей в черёд. И сейчас (отчасти — чтоб и охладить немного Думу) Родзянко пропускает: одного — от мусульман, одного — от Курляндии, одного — от ковенских евреев. (Да на еврейском вопросе Думе не охолодиться, а пожалуй наоборот.) Однако тот недостаток имеет это равномерное чередование ораторов, что раз в зале сидят и правые, то приходится Думе слушать и их тёмный бред, и по такому же наказному часу. Впрочем, какие уж правые — их всё меньше, они дробятся, расползаются, как будто вырождаются, боясь собственного существования, не в смелости отстаивать его. Вот идёт на трибуну — рослый, тяжёлый, большеголовый, в хомуте крахмального воротника, со вскрученными усами, обильными тёмными кудрями,— да где мы видели его? позвольте? что за рисунок? А-а, в Думе так и зовут его — «Медный Всадник», и тут, видимо, не случайное сходство: Марков—из рода Нарышкиных, и в каком-то седьмом или десятом колене вынырнул тот же образ! Только походка у него не императора, а как будто попружинивая, без уверенности.

Всеми ненавидимый председатель Союза Русского Народа держится — подчёркнуто надменно, закоснело твёрдо, с лицом запечатанным, ибо в привычку ему, что он — всегда против течения, что он — всегда среди врагов, во всяком обществе образованных русских людей. Так и держится — ещё более вызывает желание противоречить себе. Тут какое-то противообаяние: как Шингарёв располагает к себе даже противников, так Марков отталкивает даже единомышленников. Своим грубым напором он умеет оттолкнуть, даже когда говорит правильное. Если бы сейчас надо было Думе голосовать, кого одного исключить из своих членов, — дружным большинством исключили бы его.

Марков 2-й: У господина Шульгина осталось одно средство: бороться с русской государственной властью, пока она не свалится в пропасть. Мы в Думе будем бить словом по ненавистному правительству — и это патриотизм. А когда фабричные рабочие, поверив вашему слову, забастуют — это будет государственная измена. Но они не болтуны, и если

вы говорите — будем бороться с государственной властью во время ужасной войны, то знайте, что ваши слова ведут к бунту, к народному возмущению в ту минуту, когда государство дрожит от ударов врага. Ведь от ваших слов не разбегутся вам ненавистные министры, это можно сделать только тем *четвёртым путём,* которого не осмелился здесь определить депутат Караулов. Четвёртый путь, на который звал нас этот господин с царским орденом на груди, действительно способен разогнать государственную власть, но он способен и погубить Россию. (Слева шум и смех. Справа: «Не смешно, Россия плачет!») Господа Шульгины, вы — пораженцы, ибо повели народ и армию к потере веры. Если перестанут верить, что сзади управляет благожелательная власть, то воевать никто не будет. (Шингарев: «Воюют за Россию, а не за правительство!»)

Трудное положение у нас, правых. (Слева смех. «Верно!»)

И верно. Он почти знает, что дело его проиграно и у этой аудитории и у всей России.

Вот поставлено с этой кафедры тяжкое уголовное обвинение председателю совета министров. Мы — молчали, и г. Шульгин оперирует: значит, вы согласны. А мы молчали потому, что криками и негодованием нельзя спорить против обвинений, столь прямо поставленных. Я слышал, это дело будет предметом суда: виноват ли председатель совета министров или клеветник тот депутат, кто его обвинил. А г. Шульгин недоволен: вы отделываетесь судебной кляузой. По-вашему, председатель совета министров должен был бы выйти на эту кафедру и сказать: неправда, я взяток не брал, неправда, я не изменял. Да если б он с этим явился — вы б закричали: долой, пошёл вон! (Слева: «Верно!») Вам хотелось, чтоб это было замазано роспуском Думы, чтобы вы могли обратиться к народу и в окопы, где за вас теряют жизни: мы обвинили его во взяточничестве, а нас распустили. Это сорвалось, вас тянут в суд, и вы виляете хвостом: судебная кляуза.

(1-й департамент Сената предложил Милюкову дать объяснения по существу, но Милюков, не имея их, уклонился: он представит «все доказательства», когда будет наряжена следственная комиссия над действиями министра. «Русские Ведомости» одобрили такой ответ: если бы Милюков стал давать объяснения, что создало бы прецедент, ограничивающий свободу депутатского слова.

Депутат же должен иметь полную свободу клеветы...)

Вы слышали молодецкое слово казачьего депутата Караулова. Он обещал низвергнуть всё сущее четвёртым путём, о котором будет говорить где-то там. Но и речи Милюкова, Керенского, Чхеидзе и ласковое изречение господина Шульгина разнятся только в технике, а ведут они все к одному: к революции! (Караулов: «К ней ведёт правительство!») Вы не понимаете, что вы хотите сделать: вы хотите, чтобы революция разрушила всё худо или хорошо сложенное русское государство!

К неприятности для большинства, не так уж много в связи и ясности уступает Марков ораторам Блока, есть кой-какое и образование у него, институт гражданских инженеров. Хотя за его затылком нависает настороженная, враждебная ему туша Родзянки, — Марков знает свой наказный час, не зависимый от председателя, и уверенно вовладался, упёрся в трибуну всё с той же отверделостью от многолетнего действования во враждебной среде.

В этом мы, правые, будем посильно препятствовать вам. Мы — не придворные в белых штанах и страусовых перьях. Но мы — подданные, верные своей присяге.

Речь Милюкова была построена, как обычно свойственно этому депутату, с обдуманностью: он её почти всю прочёл. Это не была неистовая речь Керенского, 44 слова в секунду. Милюков говорил чрезвычайно увлекательно, и малокультурные слушатели не успели вникнуть в это блестящее по форме и дурное по существу изложение. Вся постройка базировалась на вырезках из иностранных газет. Одна московская газета,

название неизвестно, напечатала, что в Ставку послана от крайних правых, имена не указаны, записка о необходимости сепаратного мира, это перепечатано в Европе и *значит* крайние правые изменники своему отечеству. Для примитивно мыслящих — приём простительный, но для профессора, для историка, для государственного деятеля? И после спрашивается: чтó это — глупость или измена! И хор из Аиды отвечает: измена! (Смех.) Это очень красочно, для театра эффект чрезвычайно сильный, но представьте картину наоборот: в Англии один из депутатов огласит вырезку из «Русского Знамени» о депутате Милюкове и спросит английский парламент: чтó это — глупость или измена? Только чистая глупость считать это доказательством. (Справа рукоплескания, смех. «Браво!») Если он имел доказательства, в чём я очень сомневаюсь, надо вносить запрос, снабжённый документами и свидетельскими показаниями. (Шум слева.)

Так и о министрах — решительно ничего не доказано, никто не обличён. Что привело вас в такое негодование против правительства? Неумелая организация продовольственного дела. В этой части ваших обвинений мы вполне соглашаемся с вами, но эту ерунду измыслили *вы*, имейте же смелость признаться, а не валить на государственную власть. Правительство теперь почти отстранено от дела продовольствия, уполномоченными вы всюду насажали ваших прогрессивно мыслящих деятелей. Если вы ищете правду, то и сознайтесь: вместо помощи правительству вы запутали то плохое, что правительство раньше делало. И давайте вместе думать, как выйти из тупика, а не вносить смуту в страну.

Харьковский вице-губернатор Кошура-Масальский получил благодарственный адрес от рабочих: он боролся с дороговизной, но средствами, не вполне вам приятными. Всё бедное население Харькова видело в нём своего заступника, который борется с богатеями, спекулянтами, мародёрами. И что же вы сделали? Вы этого человека немедленно выгнали со службы. И теперь все остальные губернаторы поостерегутся прогрессивной Государственной Думы. Вы, господа, бороться с дороговизной на самом деле не хотите, вы — сами откажитесь от корыстолюбия! Слишком много спекулянтов и мародёров в прогрессивных кругах — в этом и несчастье. Не хватает у вас духа бить по собственным дельцам.

Мы, правые, видим выход один: экономическая диктатура правительства.

Что представляется прогрессивной Думе чёрным исчадием.

Без этого будут хвосты, спекулянты и мародёры, которые выбрали многих вас.

Господа, я с наслаждением читал так называемые прогрессивные, левые, то есть еврейские газеты. Я просто радовался, как люди впадают в полное противоречие со своими основными убеждениями. Чем газеты левее, тем больше они требовали **обуздания крестьян**, заставить крестьян насильно продавать хлеб. Я глубоко не согласен с этим, но радостно, что эти газеты, эти партии обличают своё нутро, показывают, какие они действительно народолюбцы. На бедного крестьянина обрушились: а, мародёры! не хотят твёрдой цены, хотят дороже! Это характерно: так только город, который всегда жил за счёт деревни, всегда объедал, всегда обижал деревню, как только чуточку ему стало плохо, то городские крикуны сейчас же получили защиту от всего *прогрессивного лагеря*, и прогрессивный лагерь не затруднился напасть на вечно обижаемую русскую крестьянскую деревню.

Когда говорят о высоком патриотизме общественных деятелей, я прошу немножко внимания и хладнокровия. Вот главное артиллерийское управление сообщает, во что обошлись непатриотические казённые снаряды и во что патриотические частные: сорокадвухлинейная шрапнель на казённых заводах в 15 рублей, на частных — 35; шестидюймовые бомбы — на казённом заводе 48 р., на частном 75 р. Составитель записки делает вывод, что если бы в России было поменьше общественного патриотизма да побольше казённых заводов, то Россия уже сберегла бы

больше миллиарда рублей. Конечно, не будь у нас частных заводов, мы не могли бы дать снарядов, сколько надо. Однако общественные деятели обирают народ уже на второй миллиард, они работают *не даром*, они наживаются чрезмерно. Но когда правительство, выдавшее 500 миллионов казённых, народных рублей общественным организациям, просит: позвольте, господа, в ваши комитеты ввести по одному скромному члену государственного контроля, что раздаётся от прогрессивных деятелей? — «это полицейский надзор, вы нас оскорбляете!». Какое же недоверие — государственный контроль, где 500 миллионов государственных денег? (Слева шум: «Это — полиция!») В прошлом году, когда рассматривалась смета Святейшего Синода, и вам стало известно, что там собираются пятачки с верующих, несущих свои жёлтенькие свечки, — вы потребовали над архиереями православной церкви государственного контроля — как бы они ненароком эти деньги верующих не истратили иначе, чем вам, ревнителям православия, желательно. А миллиарды казённых денег, текущих через ваши общественные учреждения, — контролировать нельзя?..

Ещё рассказывает, как промышленники перепродают на рынке военные разрешения на вагоны. Долог наказный час, но кончился. А Марков просит ещё.

Родзянко: Я не могу поставить на голосование... (Справа: «Неоднократно ставилось!» «Сколько раз разрешалось!»)

Речи Маркова угрожают Родзянке не перед Государем, как милюковские, но зато перед Думой, которая именно сегодня вечером либо выберет, либо не выберет его на следующий год. Однако эту спокойную речь, сорвавшую темп атаки на правительство, все слушают (голоса не только справа, но и слева: «Просим!»), и Родзянко решается:

Угодно Думе продлить? Ставлю на голосование.

Марков рассказывает о злоупотреблениях общественных организаций, как Земсоюз прикрывает дезертиров.

Вспомните известный процесс Парамонова в Ростове, как спекулировал, мародёрствовал этот архипрогрессивный деятель, и местная правительственная власть помогала ему. Вспомните, как были арестованы киевские сахарные короли, которые прикрывались общественным флагом, что они спасают отечество. Когда вы обличаете правительство — не забывайте обо всех этих людях. Много гадостей и гнусностей совершается под флагом общественности.

Если мы действительно увидим, что есть министры, изменяющие русскому государству, мы будем безжалостнее, чем вы! Но мы не поверим голословным обвинениям, простым выдержкам из иностранных газет. На заводах — забастовки, и вы обвиняете полицию. Но зачем полицию, когда есть члены Думы, которые посылают на это дело и говорят, что забастовками надо добиться мира. Бороться за мир, когда германцы давят Россию смертным давлением, есть измена. Эти члены Думы — изменники, а вы не извлекаете их из вашей среды. Так вот, с изменой бороться будемте, это нам по пути, но сперва потрудитесь изгнать из своей среды настоящих изменников, а до тех пор вы не имеете морального права обвинять других. (Рукоплескания справа.)

Вскоре затем — думский златоуст, адвокат, более знаменитый своим красноречием и мало оцененный по глубине и точности мысли (не без следа — математическое отделение), всходит на кафедру тихо-укоризненный, обращённый взглядом как бы даже не в зал, а — внутрь себя,

В. Маклаков: Господа, я не буду никого обличать.

(Это — шпилька Милюкову, как всегда.)

Хотя на фронте сейчас благополучно и военная усталость Германии становится для всех очевидной,

как и усталость самого оратора — так проста и грустна его манера держаться, тих (но явственен) голос, никакой внешней «римской» элоквенции, он как будто беседует

(не угадаешь, что выступление подготовлено тщательно):

мы стоим перед новой и грозной опасностью, и она совсем не в продовольственном кризисе, а: что-то случилось с Россией, в чём-то переменился её дух. Одни уже осмеливаются говорить о мире, другие — в виду неприятеля — «чем хуже, тем лучше», пусть будет катастрофа, она куда-то нас приведёт. А третьи запирают амбары,

(всё-таки и он — не о промышленных, не банковских складах)

наживаются, спекулируют и веселятся. А малодушные и маловерные падают духом: Россия долго не выдержит. И этот упадок духа переходит на фронт. Вот где опасность.

И это — та самая Россия, которая два года назад обманула германские надежды на наши внутренние распри; которая в прошлом году, в минуту нежданной беды, имела мужество духа не растеряться; та Россия, которая не тешилась презренным красноречием, а стала к чёрной работе! Что же случилось с долготерпеливой многострадальной нашей Россией?

Впрочем, Маклаков, среди немногих, ещё и весной 14-го года, до войны — предсказывал России поражение. Предсказывал — однако не противился войне, даже хотел её.

На всём протяжении России с отчаянием спрашивают: где же наше правительство? кто управляет Россией? куда нас ведут? И эти вопросы ставим не мы, Государственная Дума, и не революция, к которой мы будто бы призываем, — та революция остановилась. Но сама власть на глазах у нас и у Европы упорно топит всякое доверие к себе: министерский калейдоскоп, когда мы не успеваем даже рассмотреть лица падающих министров. Непонятные возвышения, непонятные опалы, политический ребус. И в результате — правительство Штюрмера? Они привыкли лгать около трона, они могут обмануть своего Государя, но России они не обманут! («Браво!» Рукоплескания всего зала, кроме крайних правых.)

Нам советуют: щадите престиж власти, всё исправится. Так было с Ковенской крепостью. До нас доходили отчаянные крики ковенских офицеров: комендант Григорьев крепости не защитит. И мы кричали — но вполголоса, мы молчали на этой трибуне, не тревожа настроения армии и опасаясь, не дошло бы до немцев. И за наше молчание Россия заплатила позором, падением первоклассной крепости. Григорьев — это эмблема: один комендант парализовал силу целой армии. Так и наше правительство парализует силу целой России.

Россия с тревогой спрашивает: за что ей навязывают правительство, которое погубит её? Элементарное требование, чтобы страна верила тем, кто имеет претензию ею руководить.

Нет, не случайность, но *режим* — проклятый, старый, отживший, но ещё живучий! Пусть каждый министр теперь выбирает — служить ли России или режиму, а служить им обоим — невозможно, как Богу и маммоне! (Продолжительные рукоплескания. «Браво!») Будем ли удивляться, что по стране разошлась эта смута в умах, которую не рассеют всё красноречие Маркова, ни все репрессии Штюрмера, ни вся та новая ложь, которая будет комьями грязи брошена в большинство Государственной Думы? Нет, господа, долготерпение России велико, как велика Россия сама, но эта война показала предел и ему. Есть предел и нашей покорности!

Это — второй максимум, меньший, — и снова снижение в грусть, в печальное задушевное откровение, как Россия поручила оратору поведать.

Пусть не думает Марков 2-й, что мы зовём к революции. Грозная опасность иная: Россию против воли никто воевать не заставит. Она не захочет приносить никаких жертв во славу этих людей, для чести и удовольствия иметь их во главе государства. (Продолжительные рукоплескания, кроме крайних правых.) Не восстанием вам ответит Россия, но упадком духа, унынием,

это и в голосе,

равнодушием.

И если это случится, и нас приведут к миру вничью,

где эта милость и кротость, секунду назад? — вспышка!! взлёт до негодующего звона!!!

о, тогда я говорю смело: тогда берегитесь! потому что позорного мира вничью Россия не простит никому! (Рукоплескания. «Браво!») Тогда Россия позовёт всех к ответу, и она пощады не даст никому, я повторяю — никому!!! (Продолжительные рукоплескания. «Браво!»)

(Как и все лидеры кадетов, Маклаков достоверно знает мнение страны. Но это ещё — если вничью, Василий Алексеевич. А если — полная брестская сдача, какой вы себе оставили эмоциональный запас?)

Россия сейчас — как воинская часть перед паникой: по инерции ещё стреляют ружья, по привычке ещё повинуются солдаты, но раздастся крик «спасайся, кто может!» — и все побегут. Однако время ещё не ушло. Если к власти назначат не слуг режима, а слуг России,

то есть Павла Николаевича, Василия Алексеевича, Фёдора Измайловича, Николая Виссарионовича, Моисея Сергеевича, —

Россия ухватится

за эту власть, она встрепенётся — и тогда горе Германии!!!

Пришло время выбора: или мы, или правительство, *вместе наша жизнь невозможна!* (Продолжительные бурные рукоплескания.) И если будет распущена Дума — как будто можно распустить всю страну! — если будет зажжён пожар, на котором спалят национальную будущность родины, то, господа...

Лишь обычный холодок помогает Маклакову сохранить самообладание—

Дума ещё может стать единственным оплотом порядка!!..

На этом сильном пророчестве и должны были кончить заседание, но составлены, подписаны, поданы и вот оглашаются

Запрос 33 членов — С трепетным напряжением Россия ожидала правдивого, свободного слова своих представителей. Однако 2 ноября в газетах произнесенные речи не нашли полного отражения. Декларация Прогрессивного блока в большей части запрещена. Ни в одном периодическом издании не напечатаны речи Керенского, Чхеидзе, Милюкова. Белые места в речах членов Государственного Совета...

А между тем: «действию военной цензуры не подлежат публичные речи, произносимые во исполнение долга службы». Какие приняты меры к соблюдению указанных...?

Запрос 31 члена — Издано распоряжение Командующего Московским военным округом — об установлении предварительной цензуры «материалов», могущих повредить военным интересам». Приняты ли меры к отмене незаконного...?

(Нигде в России нет предварительной цензуры, за что же в Москве?)

Съездили пообедать — и вечером стали переизбирать Председателя Думы.

Председатель: По мотивам голосования — Чхеидзе.

Вырвался, нашёл щёлочку! Пять минут, но — за пять минут можно-о...!

Чхеидзе: После акта Третьего июня мы всегда были уверены, что большинство этой Думы будет идти по указке правительства. Барьер, через который народ не может пройти, чтобы продолжать *работу 1905 года...* Конечно, за последние две Думы стены этого белого зала не слыхали таких речей, и это можно приветствовать. Но, господа, не обольщайтесь, я вас прошу, не думайте, что вы сказали что-нибудь новое. То, что вы говорили, есть повторение из многого того, что говорилось, и речи более внушительные и содержательные раздавались с этой трибуны в Первой и Второй Государственной Думе.

Но, господа, несмотря на все ваши очень горячие речи, я не знаю, долго ли это будет продолжаться?.. Я вас, господа, боже избави меня призывать к революции, ничуть не бывало. Но одно скажу, господа: что ни одна революция не губила ни одного народа, ни одного царства!! Она не погубила Англию, которую вы теперь хвалите. Не погубила Францию — припомните Коммуну 1871 года. И мощь Германии начинается именно с 1848 года. Она не губила и Китай.

Так вот я и говорю: та схватка, которая происходит между вами и правительством, меня очень интересует. Долго ли эта схватка будет продолжаться?

Председатель: Член Думы Чхеидзе, ваш срок истёк.

Да к тому ж он исчерпывающе объяснил мотивы голосования. А всё б ещё две-три фразы всунуть!

Чхеидзе: Не далее, как сегодня, коленопреклонённо извинились... с этого места... и вам предложили... (Рукоплескания слева.)

Облегчённый Чхеидзе убежал.

Считают записки, баллотируют шарами — и Родзянко, к своему восторгу, выбран, — но всего лишь половиною Думы.

К полудню 4 ноября он открывает следующее заседание. Но что за вызов или что за странность? — правительственная ложа в этот раз не пуста! В ней сидят два министра, оба в военной форме: морской министр Григорович (единственный, кому симпатизирует общественность) и военный министр Шуваев (никому не надсадный интендант). Министры сами по себе — безобидные, свистеть пока не будем, но как понять, что они появились тут после громового обвинения правительства в измене? Неужели же посмеют защищаться? Посмотрим.

Теперь покинута прежняя повестка, и текут прения по запросам. Но как бы ни называлось — а всё о том же.

Аджемов (к-д): Вы станьте на минуту в положение русского обывателя, который утром с жадностью обращается к газетам — узнать, что за него сказали его избранники. Говорит правый депутат Левашов — и много точек. Говорит Марков 2-й — и даже его мы видим в маленьких размерах. Вы, господа, закрыты в этом зале, в этом старом дворце Потёмкина, кричите, негодуйте, ни одного слова Россия не узнает всё равно! Никогда правительство не падало до такой глупости, до какой оно упало сейчас: показать себя перед всей Россией, что нет ни одного течения, которое могло бы поддержать это жалкое, ничтожное правительство. А Москва находится вне театра военных действий, военной цензуры по закону быть не должно!

Слов — нет, есть белые места, — вот где революция, и вот кто делает революцию!

Скобелев (с-д): Истерзанная оскорблённая страна ждала Думу, чтобы услышать правду. Но не успели раздаться первые слова правды, как это белое зало было накрыто вот этой белой бумажкой. Господа, вы должны сорвать эту бумажку за № 16672 с ваших голов, иначе лишается смысла ваше пребывание здесь.

Вам здесь говорили, что из всякого положения есть несколько выходов. Но вы идёте по линии наименьшего сопротивления: вы обрушиваете своё негодование на Штюрмера, хотя в нём лишь отражается природа нашей власти. Господа, что может вставить обыватель в эти белые места с заголовками графа Капниста, Шульгина? Он может подумать, что они здесь говорили о свержении самодержавия, об учреждении демократической республики, а они всего лишь говорили о свержении Штюрмера.

Господа, провокация — неотъемлемый фактор величия нашей власти и её благополучного существования.

И ловок же! — опять выскочил и трибуну захватил

Керенский: Разве мы не живём в состоянии *оккупации,* как Бельгия или Сербия? Когда государство захвачено враждебной властью,

отрезана всякая возможность национальной политической деятельности... Разве, господа, из бесконечной перемены отдельных министров на этих скамьях у вас не возникает вопрос: а где же те, кто ставят этот театр марионеток, кто выводит и сводит на сцену иногда мерзавцев, иногда...

Родзянко: Член Государственный Думы Керенский, покорнейше прошу вас выбирать выражения.

Да что ж выбирать, уже и сказал.

Керенский: Господа, когда масса тёмная, не знающая правды, иногда выходит из себя, бросается, куда ей не нужно идти, вы говорите: у нас нет патриотизма! А есть люди, для которых страна была не матерью, а доходным местом, которые жили столетиями на крови и поте этих масс, — и когда они, предавая интересы государства, спасают своё личное положение...

Родзянко: Член Государственной Думы Керенский, прошу вас вернуться к запросу.

Керенский: Я говорю о запросе. Я доказываю, что военных тайн никогда русская власть скрывать от враждующих держав не умела и не хотела.

Родзянко: Покорнейше прошу вернуться к запросу. В случае неисполнения...

Прерывает он из обязанности, ненастойчиво, ибо Дума левеет, кружится влево у него под стопами. И замерла пресса, и замерли хоры, наслаждаясь пулемётностью любимого оратора.

Керенский: Вчера здесь один из тех, чьё имя я не называю, но который неустанно защищает тех, которые... Заявил мне с этой трибуны, что я являюсь изменником государству. (Марков: «И повторяю.») А не вспомните ли вы, господа, что 25 февраля 1915 года, когда большинство Думы еще было охвачено «единением с властью», я послал председателю письмо,

оно ходило по рукам, по столицам и в провинции,

где говорил, что «измена свила себе гнездо» на верхах русского правительства, а мясоедовщина — только симптом? И не я ли просил тогда...

Родзянко: Член Думы Керенский, прошу вас воздержаться...

Керенский: Я был бы рад, если бы вопрос о положении государства можно было бы свести к предательству отдельных лиц, если б можно было найти доказательства против отдельных министров...

(а их найти нельзя).

Но если мы возьмём их отсюда и десятками, то старая власть столетиями воспитала себе сотни холопов...

Наконец, Родзянко решается лишить его слова.

Выступают другие, читаются скучные документы — и на полминуты выскакивает снова лихой

Караулов: Я, господа, взял слово, чтобы сказать вам очень немного:

Речей не тратьте по-пустому,
Где нужно власть употребить!

Но в дополнение к этому — моё крайнее негодование: разве допустимо, чтобы депутатское слово, которое не разносится по стране, слышала бы в изобилии наполняющая хоры публика и не слушали бы сами депутаты, которые ушли в буфет. (Смех, шум.) И снова

Марков 2-й: Да, Александр Фёдорович Керенский, я вас считаю государственным изменником на основании тех заявлений, которые вы сделали с этой кафедры. Всякий, кто ныне осмелится *бороться за мир*, да еще насильственными путями, есть государственный преступник и изменник.

Если министры совершают такие ужасные преступления, почему же вы, законодатели, не вносите запроса? Потому что запрос надо обосновать, для него недостаточно ссылаться на германскую печать, надо да-

вать доказательства, и вы боитесь запроса, — вот это стыдно! История рассудит, кто был прав, и не удастся вам её фальсифицировать. Когда такие обвинения бросаете, ставьте дело серьёзно. Если вы докажете их — мы будем не против вас, а впереди вас. Но докажите прежде.

Да, господа, пустые места в газетах волнуют, раздражают, это верно. Но места, наполненные вашими речами 1 ноября и сегодняшними, во время этакой войны произведут гораздно более опасные последствия, они защитников наших лишат веры в нужность самопожертвования. Вы отнимете у русского солдата всякое желание сопротивляться врагу. Зачем сопротивляться, если верно всё, что говорили с этой кафедры? Вы — первые пособники германцев. Как ни тяжело видеть эти насмешливо устроенные газетные пустоты, из-за которых наши речи превращаются в нелепость, но лучше они, чем та систематическая кампания, которой вы хотите перевернуть всю Россию вверх дном, устроить теперь в России международную войну. (С л е в а ш у м. «О й - о й!») Да, господа, этих пустот не должно быть, германцы не дозволяют пустот; заполняй объявлениями, но не смей давать пустот. Более того: если наши газеты будут продолжать мутить народ, смущать армию — закройте все газеты до последней! (С л е в а с м е х.) Во время войны мудрый народ, республиканский Рим, выбрасывал все свободы, выбирал диктатора. Когда всё мужское население идёт в окопы, когда все свободы нарушены существом военных действий,— не толкуйте нам о свободе слова, печати, толкуйте — как победить германцев. Вы не склонны ещё понять, какие опасности грозят России. Если вы посеете уверенность, что сзади предают, сверху предают, — этот день будет гибелью русской армии, русского народа, ибо его расхватают на клочки, и *первые вы, маленькие люди, погибнете!* (Р у к о п л е с к а н и я с п р а в а.)

Ага, Марков подготовил поле для контратаки правительства — и вот на кафедру выходит военный министр. Погрессивный блок напрягся и сплотился: не сдадим! не уступим! Жалких ваших аргументов и слушать не будем! Правительство изменило, и трон изменил, об этом громко объявлено, и никому не дадим опровергнуть!

Ш у в а е в: ...поделиться кой-какими мыслями из переживаемого времени. Предотвратить мировой пожар мы не встретили отклика во вражеском стане.

Это — что ж, это — подходит. (Г о л о с а: «В е р н о!») Дальше министр ещё проходится по германским бесчеловечным традициям — это нам подходит. (Г о л о с а: «В е р н о!») И вот

каждый день мы приближаемся к победе! (**П р о д о л ж и т е л ь н ы е р у к о п л е с к а н и я в о в с е м з а л е.** «Б р а в о!»)

А потому что война ведётся не одною армией, но всем государством. Всё, что может, взялось за снабжение армии.

(То есть *общество.* Хорошо!)

И вот цифры: за полтора года: трёхдюймовых орудий у нас увеличилось в 8 раз («Б р а в о!»), гаубиц — в 4 раза, снарядов тяжелых — в 7, в 9, а трёхдюймовых — в 19 раз, взрывателей — в 19, фугасных бомб в 16, кое-чего из взрывчатых — даже в 40 раз («Б р а в о!»), а удушающих средств — в 70 раз! («Б р а в о!»)

Вот что дала дружная совместная работа — и позвольте надеяться и просить вас помочь и в будущем для снабжения нашей доблестной армии. (П о в с е м у з а л у: «Б р а в о!») Враг надломлен, он не справится. Каждый день приближает нас к победе. Во что бы то ни стало победить — это повелительные указания Державного Верховного нашего Главнокомандующего. Этого требует благо нашей родины, перед которым всё должно отойти в сторону. (Б у р н ы е п р о д о л ж и т е л ь н ы е р у к о п л е с к а н и я в с е г о з а л а.)

Ну что ж! Кроме встрявшего дежурного «Державного» — это не только не плохо, это просто великолепно. Правда, мало похоже на военное поражение, но зато признано, что всё военное снабжение держится на обществе! И никакой солидарности со Штюрмером, с Протопоповым, со всем гнездом измены и сепаратного мира!

Григорович: Я считал своим священным долгом выступить также и открыто сказать, что ваша многолетняя и постоянная поддержка в государственной обороне... (Бурные продолжительные рукоплескания всего зала. «Браво!»)

То есть что получилось? Что армия и флот отделились от гнусного сгнившего предательского правительства — и соединяются с думской оппозицией!

(Они и посланы были струсившим правительством сыграть на патриотических чувствах Думы — и так создать примирение. Но выйдя перед девятьсот напряжённых глаз — не собрали мужества упомянуть клятое правительство и не избежали соблазна сорвать аплодисменты — самим себе.)

Однако, всё-таки тут надо пошушукаться, посовещаться вокруг Милюкова. Двадцать минут перерыв! (В перерыве Шуваев благодарил Милюкова за его предшествующую патриотическую речь.)

Родичев: Редко случается, чтоб так веско сказано было бы нужное слово. Сражаться до конца — ведь только этого мы и хотим, ведь только для этого здесь и сидим. (Рукоплескания слева и в центре.) За ними — всеобщий порыв страны и более чем двухлетний подвиг жертв, которыми Россия не считалась. Но чтобы не считаться с жертвами — нам надо верить в вождей. Россия нуждается в вере во власть. Это старая её потребность — честная добросовестная власть. И когда во все щели рвётся тлетворный воздух, мы говорим: очистите атмосферу!

Депутат Марков сказал одну большую правду: как же по России пойдут ваши речи без опровержения? Да, несчастье наших речей в том, что они не получили опровержения. В этом трагедия невозможной задачи, которую *они* себе ставят: победить врага, презирая отечество.

Одна вера осталась в России незыблемая, это вера в Государственную Думу. (Слева: «Браво!») Это единственная среда в России, где раздаётся свободное слово, мощь которого безгранична! (Рукоплескания слева и в центре. «Браво!»)

И мы ещё эту Думу послушаем.

ДОКУМЕНТЫ — 5

Петроград, 3 ноября

ЦИРКУЛЯРНАЯ ТЕЛЕГРАММА РУССКИМ ПОСЛАМ

министра иностранных дел Штюрмера

Распространённые за последнее время печатью некоторых стран слухи о секретных переговорах, которые будто бы ведутся между Россией и Германией о заключении сепаратного мира... играют лишь в руку враждебным государствам... Россия будет биться рука об руку с доблестными союзниками против общего врага без малейшего колебания до часа конечной победы...

72

Соединяла государыню с её собственным лазаретом и более глубокая связь, чем работа в нём: она ездила туда посидеть у постелей, иному тяжёлому молча держать руку или положить ладонь на голову, говорить слова успокоения, заменить близких. Бывали излюбленные раненые, близ которых она сиживала каждый день — до смерти или до выздоровления, и умерших потом вспоминала как своих родных. Близ более лёгких сидела с вышиваньем, слушала их рассказы, носила им цветы, раненый мальчик говорил: я так счастлив, что мне больше ничего не надо. То обнаруживались офицеры, которые 10 или 15 лет назад видели её на смотре, издали, а другие становились знакомыми теперь, и уже навсегда. Благодарность раненых целительно укрепляла государыню. Её тянуло туда — когда так томительно было без мужа и без сы-

на, и там она забывала своё одиночество. Её тянуло туда, когда она чувствовала себя особенно подавленной и несчастной. И даже когда она сидеть не могла — она ехала в свой лазарет полежать на диване, — и всё же испытать уют и успокоение, лившиеся к ней от госпитальной обстановки.

Но ещё особенно соединяла её с ранеными — молитва вместе. Это — одна из женских обязанностей: стараться больше людей приводить к Богу. А солдатские — не офицерские — души бывают совсем детские. С выздоравливающими государыня бывала на богослужениях. С уходящими в смерть — молилась. Молитва всегда помогает отлетающей душе. Вот — ещё одна храбрая душа покидает этот мир, чтобы соединиться с сияющими звёздами. И сколько она видела умирающих — это только позволяло ей понять величие происходящего.

Вера помогала ещё более, чем работа. Церковь — такая несравненная помощь, когда на сердце печально. И плакать там облегчает. В прежние годы, поподвижней, государыня любила поехать с Аней в одиночных санях, неузнанными, в какой-нибудь тёмный безлюдный храм и молиться там на каменном полу, на коленях. Ещё ведь сколько лет она отмаливала здоровье сына. Всякий день, поставив свечу у Знаменья и помолясь за Государя, трон и наследника, Александра чувствовала себя спокойней. И особенно укреплялась душа от причастия, несколько раз в году. А когда-то ещё мсьё Филипп убедил её, что она находится под покровительством Богородицы и особенным образом связана с ней. Особенно она верила в день Покрова, который должен принести выдающуюся милость. Поразило её, когда и Друг сказал, что день Рождества Богородицы — её особый день. С Другом тоже не все разговоры были одинаковы, но когда возникал *чудный* разговор — о чудесах и необъяснимом, душа государыни трепетала: эти разговоры давали подняться выше земных тревог или посмотреть на них свысока. Ещё читала она книги о религиях индийской, персидской.

Можно понять, что всё, кипящее сейчас на Земле, и эта чудовищная европейская война, и всё происходящее в России, и борьба русского трона со своими заклятыми врагами, — гораздо глубже, чем кажется на взгляд. И мы, которые приучены смотреть на вещи также и с *другой* стороны, — видим, что́ это за борьба и что на самом деле она означает.

И можно ожидать ужасного конца.

Прошлым летом, в самые страдные дни русского отступления, вдруг телеграфировал Варнава из Тобольска, что люди видели днём на небе крест.

А сегодня, с четверга на пятницу, государыня видела такой странный сон: будто её оперировали. Она лежала на операционном столе и всё сознавала. Будто ей отрезали правую руку и ей было не больно, но остро жаль: ведь во всякой борьбе за правое дело так нужна правая рука. И как же теперь креститься? И как письма писать Ники?

Она проснулась с содроганием.

Она боялась, не допускала себя отдаваться угнетающему чувству.

Но к несчастью помнила, когда это угнетение овладело ею первый раз в жизни, ещё совсем молодою: при свадьбе. Ей досталось въехать на царствование в Россию — вместе с гробом умершего царя, сопровождая его от Крыма до Петербурга. И сперва были — похороны, цепь панихид, — и свадьба как продолжение этих панихид, только невесту одели в белое платье.

А уж теперь-то! — такой старой и подавленной она чувствовала себя — от всех болей и всех беспокойств. А с тех пор как началась эта злосчастная война — беспокойство не уходило из сердца ни на день.

Эта война началась — рядом с Александрой, в соседних комнатах, — но Государь ничего не сказал ей в тот день, ни разу не посоветовался, она ничего не знала о всеобщей мобилизации и как рыдала потом! Она чувствовала, что совершилось в мире что-то необратимое.

Началась война — и что же верно Государю? Они решили, что место его — как можно больше ездить по войскам, да он это и любил. Для него большое утешение видеть эти массы преданных счастливых подданных — но для них?! какая награда! Каковы их чувства, когда они видят так близко и запросто своего Государя — да если ещё и с Бэби? Какую отвагу придаст им это драгоценное появление, какие солнечные воспоминания на всю жизнь останутся у всех! Они увидят, за кого они бьются и умирают (не за Ставку, не за Николашу, — и кстати, Николаша много проиграл, что никогда не ездил по войскам). Побольше войск обозревать Государю, и важно, чтобы в газетах печатали об этом. Государыня считала себя и дочерью солдата и женой солдата — и хотела бы вместе с мужем тоже ехать ближе к фронту, чтобы воины мужались, и хотела бы сама видеть лица этих храбрецов, когда они увидят, за кого идут на бой.

За то что Ники взял на себя пост Верховного Главнокомандующего — теперь жестокою разлукой пришлось платить супругам: 21 год до того не разлучались их любящие сердца — теперь одна неделя разлуки кажется вечностью, а приходится — и на многие недели.

О, какое отчаяние — не быть с тобою вместе! О, как бы я хотела никогда с тобою не расставаться, разделять с тобою всё и видеть всё! Выплакала все глаза. Но твоя жена всегда с тобой и в тебе! Мне невыносимо сознание, что ты постоянно отягощён заботами и находишься так далеко от меня. Ненавижу отпускать тебя туда, где все эти терзания и тревоги. Ужасная вещь — сидеть в Ставке, в городских условиях, столько месяцев подряд. Ты постоянно за чтением докладов, мой бедный малютка. Как тебя изводят ещё министры, и тебе приходится принимать их даже в ужасную жару. Как много тебе приходится работать, какую ужасную жизнь ты ведёшь.

Эти постоянные разлуки изнашивают сердце. Никогда нельзя привыкнуть к минуте провожания. Твои большие грустные глаза, полные любви, так и стоят потом, и преследуют. И никогда не ослабляется ужасное ощущение твоего отсутствия. Мы с тобой — всегда одно целое. На какую ещё любовь способно моё старое сердце! Люблю тебя всё больше и больше, с каждым днём. Люблю тебя, как редко кто был любим. И за гробом буду твоя жена и друг. Мой бедный большой Агунюшка! Мой храбрый мальчик! Голубой мальчик с великим сердцем! Мой сладкий! Мой солнечный Свет! Солнце моей больной души! Кладу в конверт маленькие розовые цветочки — знай, что я их поцеловала. Завидую им, что они понесутся к тебе. И ты тоже их поцелуй. Вот это место, обведенное на листе, — здесь стоит мой крепкий поцелуй. Я надушила это письмо, чтобы не было противного запаха чернил. А вот посылаю тебе цветы, которые стояли у нас в комнате, и ими дышала твоя старая Солнышко. А как я люблю получать цветы от тебя! — они залог нежной любви. С твоим дорогим письмом уединяюсь и наслаждаюсь. Перечитываю несколько раз и, безумная старая женщина, целую твой дорогой почерк. В воображении кладу голову тебе на плечо — и лежу тихо на твоём сердце. А на ночь всякий раз благословляю и целую твою подушку. В темноте перебираю твои слова — и они наполняют меня тихим счастьем, и я чувствую себя моложе. Желаю тебе увидеть свою жёнушку во сне. Чувствуй мои руки, обвивающие тебя, — вечно вместе, всегда неразлучны. От этих разлук огонь разгорается только жарче. А телеграммы — не могут быть горячими, через столько чужих рук они проходят. Чувствуй меня возле себя, я тебя грею и нежу. Жажду почувствовать, что ты — мой собственный, целую всего тебя — ведь я одна имею на это полное право, ведь так?

Я не хвалюсь, но никто не любит тебя так, как старое Солнышко. *Она* дерзает называть тебя своим, жалуется, что получает мало ласки, — она думает, что она одна скучает без тебя. Она — глубоко разбита, она ведь ничего не испытала в жизни. Ты — её жизнь, у неё всё сосредоточено в собственной личности и в тебе, но ты — мой, а не её,

как она осмеливается тебя называть. Ведь ты сжигаешь её письма, чтоб они никогда не попали в чужие руки? Я буду охотно передавать их сама, хотя Аня не понимает, что её письма представляют для тебя так мало интереса. Но лучше пусть пишет через меня, чем через свою прислугу. Вот — она целует твою руку. Вот — она нежно целует тебя. Вот тебе её объёмистое любовное письмо. Шлёт тебе множество любящих поцелуев. Вот она с ума сходит от радости, что ты возвращаешься в Царское. Пошли ей привет, ей грустно не получать ничего. Передай ей поцелуй, она будет счастлива. (Терпеть не могу выпрашивать поцелуи, подобно Ане.) Однако не позволяй твоей даме сердца писать слишком часто. Надо выдрессировать её умеренностью, потому что чем больше имеешь, тем больше желаешь. Её всегда нужно обливать холодной водой. Конечно, если тебе самому нужны беседы с ней — другое дело. Но если мы теперь не будем тверды — у нас будут истории, и любовные сцены и скандалы, как в Крыму.

Аня Танеева стала фрейлиной, получила шифр с бриллиантами ещё в 1903 году, 19-летней девушкой. Но быстро она превзошла своё положение, и уже через два года настолько все при дворе ревновали её к Ея Величеству, что для отвода зависти остальных фрейлин иногда проводили её в кабинет государыни через комнату для прислуги, возбуждая впрочем новые кривотолки. Их сблизила и музыка — они играли в четыре руки, брали уроки пения у профессора консерватории, пели дуэты (у Ани было высокое сопрано, у государыни — хорошее контральто, но Государь не любил, когда она пела, и это заглохло). Но более того, Аня была единочувственна государыне — в религии, в общем ощущении мира и его наполненности таинственными предзнаменованиями и страхами.

Государыня тем более нуждалась в близкой женской понимающей душе, что с первых же шагов молодой императрицы в России обозначился разлад её с петербургской знатью и развивался неотвратимо. С первых же дней в России она почувствовала, что её почему-то здесь не любят и не полюбят. Это ещё можно было спешить исправить — но Александре мучительно трудно было: она и без того была замкнута, болезненно застенчива, а ощутив к себе предубеждение общества — ещё более отчуждилась. У неё было несчастное свойство казаться на людях натянутой и не нравиться. Она была совсем неспособна к притворству, не умела неискренно улыбаться, чем очаровывается толпа. Она не умела искусственно расположить к себе общество, мучительней всего было ей сближаться с теми, с кем не хотелось, на публике она казалась холодной, застывшей, скучающей — да и действительно скучала, — и всё это ещё в контрасте с улыбчивой приветливой старшей императрицей, с которой она не могла соревноваться. (И та — любила приёмы, и всегда выступала на первом месте, об руку с Государем.) А вскоре пошла череда детей и череда болезней, и потребность подолгу лежать, не то что стоять, — и тем более стало не до балов, не до приёмов, даже и частных, это всё отменилось. Многие добивались быть принятыми лично, и каждый, кому уделялась ласка, уже завербовывался в друзья. За приём ей готовы были бы всё простить, но и на эти приёмы не было сил, всем кряду отказывали, — а при отказах невозможно было сослаться на серьёзность нездоровья, его тоже надо было скрывать, — и так всё объяснялось гордостью, холодностью, отстранённостью императрицы. Как пышно праздновали 300-летие дома Романовых — но какой холод и неприязнь к императорской чете веяли от блистательной великосветской толпы!

Так Аня Танеева стала не придворной дамой, но первым другом. На 12 лет моложе государыни и на столько же старше дочери Ольги, как бы младшая сестра или старшая дочь, Аня разделяла с царской семьёй их любимые интимные прогулки на яхте в финляндские шхеры, где они гуляли без всякой опасности от террористов и совсем как простые люди, без оглядки, — по тропинкам, по ягоды и грибы. И там ког-

да-то государыня обняла её и сказала: «Бог послал мне вас, и я больше никогда не буду одинока.» В 1907 Аня вышла замуж за морского офицера Вырубова, сохранившегося при взрыве «Петропавловска», Их Величества благословляли молодых иконою в дворцовой церкви — но супруги быстро разошлись, развелись, Аня ничего не видела от мужа кроме беспомощной ярости, она убежала от него и только сохранила навсегда его фамилию. Теперь при дворе она уже не возвратилась в состояние фрейлины, но так и была — единственной интимной подругой императрицы.

Однако постепенно она стала уже не только подругой, но постоянным третьим при императорской чете: не давала супругам полного уединения и принадлежания. Где не ждёт нас людская неблагодарность? Ей дали сердца, домашний очаг, частную жизнь, — и как не испытать горечи, когда её поведение в Крыму осенью 13-го года, зимой и весной 14-го было недостойно — да оно и перед тем было приготовлено её притяжением к Государю и отдалением от императрицы, и даже странной грубостью с нею, снизу вверх, холодностью, потерею всякой прежней близости. И государыня отправила её из Крыма прочь.

Разлука не длилась слишком долго — государыня простила Аню, вернула, — однако что-то пропало, появилась тягость в отношениях, не могло быть прежней близости и лёгкости, анины капризы расстраивали покойные вечера, открылось, как она избалована, дурно воспитана, думает только о себе, ей всегда нужно что-то новое, — и государыня даже страшилась новых поворотов аниного настроения.

Затем в январе прошлого года Аню постиг страшный удар: она попала в железнодорожную катастрофу, были сломаны обе ноги, повреждена голова, спина, рвало кровью, она шесть месяцев пролежала на спине и перенесла несколько операций. И теперь стала калекою, навсегда с костылём. Это могло бы дать полное обновление прежней дружбы, государыня сидела при ней многими часами, — но, Боже, как далеко Аня ушла душой. Болезнь её не исправила, её капризность и требовательность только повысились, она язвила скрытыми намёками, теперь по своей беспомощности она надеялась получить больше внимания, посещений и ласки Государя, надеясь на возврат прежнего. Она не хотела считаться, что у государыни слишком много других обязанностей, ревновала её к раненым, слала по пять записок в день с призывом прийти, и два сидения в день по часу считала недостаточным,— хотя и говорить было не о чем. Чтоб этот несчастный случай имел в результате мир, чтоб Аня думала не только о себе, — государыня читала ей жития Святых, но долго не размягчались её жёсткие глаза, она всё хотела, чтоб Государь навещал её часто: «У вас есть дети, а у меня — только он!» А стала ездить в коляске — хотела жить в их дворце и чтобы в саду встречаться с ним без государыни. Только последовательной твёрдостью и осторожностью отношений наконец излечили её.

Но шли и шли месяцы страшной войны, и вокруг всё увеличивалось врагов, — а Аня оставалась всё же верной душой и доверенной, и единственной преданной без оглядки. Она разделяла преклонение перед Другом, и была в курсе всех сношений, скрываемых от мира. Только в её домике и можно было незаметно встречаться с Другом, только через неё — поддерживать с Ним быструю короткую связь. Уже на костылях, она поднималась к Нему на Гороховой на третий этаж и, страдая заедино, получала анонимные угрожающие письма с отметкою чисел, которых ей надо опасаться, и даже санитар её получал угрозы, что погибнет насильственной смертью, так что одно время давали ей дворцовую охрану. Друг неизменно её хвалил, называл «отроковицей небес», и не желал никого другого для связи, и велел брать её в Ставку, когда государыня ездит туда. Да что ж, агрессивность её уменьшилась, и снова возвращалась хорошая девушка, добрая верная помощница. ***Нас* вместе так мало — будет больше мира и силы.**

Так мало нас — и ещё в разлуке. Многострадальный мой голуб-

чик, солнечный большеглазый душка! Ты делаешь великое и мудрое дело, но когда же ты будешь освобождён от волнений и тревог, и будут честно выполнять твои приказания, служа тебе ради тебя самого? Как я хотела бы помочь тебе нести твой неудобоносимый крест! Это ужасно — давать делать тебе одному всю тяжёлую работу. О, как успокоить твою усталую голову! Иногда женщина может помочь, если мужчины к ней прислушиваются. Ты так всегда занят, ты можешь забыть, что я твоя записная книжка. Вот я посылаю тебе бумажку для памяти — держи её перед собой во время приёма министра. Ах, зачем мы не вместе, чтобы обо всём переговорить! Моё перо летает как безумное по бумаге, не поспевая за мыслями, но я не могу писать обо всём, о чём хочется. Устроить бы прямой телефон — но так, чтоб его не подслушивали.

Из сознания долга и окрылённая любовью, и из сострадания к изнемогающему супругу государыня находила в себе и мужество, и мужскую волю, и мужской разум, — особенно в последние годы, когда, повидимому, все мужчины стали носить юбки. За последние годы, когда Александра Фёдоровна выбилась из малолетства пятерых детей, — не было такого случая, чтоб она не имела определённого государственного мнения и мнение это было бы неправильно. Да слишком близко она стояла, чтоб разрешить себе не вмешиваться! Сперва с робостью она вступала в помощь царственному супругу, оговариваясь и извиняясь перед ним, ничего ли он не имеет против, что она является со своими идеями. Она ежедневно молила Бога, чтоб оказаться верной помощницей и правильно советовать.

Я чувствую, что я поступаю жестоко, терзая тебя, мой нежный терпеливый ангел. Мои письма, наверно, часто тебя раздражают. Но если я когда-нибудь тебя огорчила — то никогда не умышленно. Ты знаешь, между нами за всю жизнь никогда не было ни раздражения, ни громкого слова. Но я всегда была твоим колокольчиком и предостерегала тебя от дурных людей. Я знаю, что могу тебе сделать больно и грустно, но ты, Бэби и Россия мне слишком дороги. Хотя бы из любви ко мне и к Бэби — не давай никаким разговорам или письмам обескураживать тебя. Иногда я дохожу до бешенства, зная, что тебя обманывают и предлагают тебе самые дурные вещи. Не предпринимай крупных шагов, не предупредив меня и не переговорив обо всём спокойно. Разве бы я так писала, если б не знала, что ты легко колеблешься и меняешь образ мыслей — и чего стоит заставить тебя держаться твоего собственного мнения. Я так боюсь за твою мягкую доброту, всегда готовую сдаться. Мне кажется жестоким, что я это пишу, но я страдаю за тебя как за нежного мягкосердечного ребёнка, который слушается дурных советчиков и нуждается в руководстве. В такое время быть в разлуке — совершенно невыносимо и может свести с ума. Насколько было бы легче разделить всё друг с другом! (Хочешь, я приеду на один день, чтобы дать тебе храбрость и твёрдость?..) Мы должны передать Бэби крепкое государство и ради него не смеем быть слабыми, иначе у него будет ещё более трудное царствование, так как придётся исправлять наши ошибки и крепко натягивать возжи, которые ты распустил. Мы — Богом возведены на престол и должны твёрдо охранять его и передать неприкосновенным сыну. Мой долг как матери России — сказать тебе всё это.

Поначалу государыня чувствовала, что министры её не любят (как не любит и весь петербургский свет и царская фамилия), но дальше—помогала всё уверенней. И вот уже Ники благодарил, что она нашла себе настоящее дело — поддерживать согласие среди министров и беседовать с ними. Теперь она совсем уже не стеснялась министров и говорила с ними по-русски как водопад, и они из любезности не смеялись над её ошибками. Министры видели, что государыня энергична и передаёт Государю всё, что видит, слышит, что делается, — что она государев глаз, ухо и крепкая стена в тылу. Бобринский сказал: «Левая

клика ненавидит вас, Ваше Величество, потому что чувствует, что вы стоите за Россию и за трон!»

Да! И она — более русская, чем иные другие в этой стране, и она не останется равнодушна к левым мерзостям!

Мне труднее заставить тебя быть твёрдым, чем самой переносить ненависть других, которая меня оставляет холодной. О, как бы мне хотелось влить в твои жилы мою волю! Не слушайся людей, которые не от Бога, но трусы. Ты их испортил добротой и всепрощением, они не знают значения слова послушание. Не сгибайся перед ними! Покажи им свою властную руку и дух! Если они будут знать, что тебя всегда можно понудить к уступкам, — никогда не будет мира.

Сам повелитель — с вечно застенчивой улыбкой. Зато Александра понимала и всё величие его царствования и все опасности его. У Ники не хватает умения быстро разбираться в людях, а в себе Александра это уменье нашла. Он переживает много трудных минут, не зная, кто говорит правду, кто пристрастен. Вот слабость Государя: когда на него слишком давят — он в конце концов уступает, считая, что так будет лучше. А уступать на самом деле — нельзя: за каждой уступкой потребуют новых. Если менять министров по каждой прихоти Думы — Дума вообразит, что это она выгоняет. Советчики и окружающие подводят его, вынуждают быть иногда несправедливым. Он всегда медлит с каждым решением, и нужна жёнушка, которая подталкивала бы его. Ах, эти его колебания! Ах, эта его беспредельная мягкость. Возвышенна эта мягкость и кротость, но для Неба, не для земли! Конечно, такая мягкость — идеал для христианина, но всё-таки — не на троне! На троне — нужны и тугие поводья, нужно и железо.

Сколько терзаний испытывала она от его непростительной мягкости! Передавать ему мужество, решимость, энергию — и была главная цель жены. Как я хотела бы дать тебе веру в себя самого! Несказанны твоё терпение и всепрощение. Говори мне открыто, даже плачь,— от этого физически становится легче. Возможно, я недостаточно умна, но у меня сильное чувство, я прислушиваюсь к своей душе — и хотела бы, чтоб и ты прислушивался, моя птичка. Мой дух бодр — и я готова ко всему, что тебе может понадобиться. У меня довольно энергии, даже когда я себя чувствую больной. Мне хочется всюду вникать, чтобы будить людей, наводить порядок и объединять все силы. Пусть все работают рука в руку ради единого великого дела, а не ради личного успеха. Мелкие личности часто портят великое дело. Я неудобна для таких типов. Я тебе надоедаю этими разговорами? Я ненавижу тебе докучать. Как я хотела бы, чтоб настало такое время, когда я могла бы писать тебе только милые забавные письма, про нашу любовь, нежность, ласки. О, если бы мы могли уехать на несколько дней на юг! Но дела — неотступны, строги к нам, — и будь же строгим! О, дай им почувствовать твою мощь! О, заставь замолчать противоречащих, ведь ты их повелитель! Кто делает ошибки — тех наказывай. А когда накажешь — не прощай тут же сразу, как ты склонен, не давай смещённым тут же хороших мест. Тебя недостаточно боятся. Будь твёрдым и внушай страх, ведь ты мужчина! Будь как железо. Дай почувствовать им всем твою волю и решительность! Хвати кулаком об стол! Будь хозяином! Правит царь, а не Дума! Будь Петром Великим, Иоанном Грозным, императором Павлом — и раздави их всех под собой! Будь львом против малой кучки негодяев республиканцев! Идёт война — и в это время внутренняя война есть государственная измена, почему ты на это так не смотришь?

(По окончании войны надо будет произвести расправу с врагами: почему должны оставаться на свободе те, кто готовили низложение своего Государя, а также Самарин, который столько неприятностей натворил?)

Почему меня так ненавидят? Потому что я твоя скала и опора, и это для них невыносимо. Неправедные и дурные ненавидят влияние

на тебя нашего Друга и моё — а только оно благо. Я всецело полагаюсь на нашего Друга. Благодаря Его руководству мы перенесём эти тяжёлые времена. Молитва Друга даёт тебе силу, в которой ты так нуждаешься. Не имей мы Его — всё давно было бы кончено.

Дома — здоровая атмосфера, тут — Ники видел все вещи правильно. Но когда он в Ставке — государыня постоянно боялась, не замышляют ли чего. За эти месяцы она несколько раз ездила туда собственным поездом и в нём жила, со всеми дочерьми, а моторами ездили то в губернаторский дом к завтраку, там переодевались, ехали на прогулку, ещё переодевались, к чаю, — и снова в свой поезд, а затем Государь с наследником приезжали обедать к ним. Яркие незабываемые поездки, и снова общение, хоть не совсем как дома. Эти последние дни государыня жила близким сроком поездки в Ставку, уже назначенной.

Но даже короткие оставшиеся дни было невыносимо прожить: что-то копилось грозное в воздухе, подобно лету Пятнадцатого года. Так, не досмотрясь, можно докатиться и до революции. Как жила сейчас Александра! — почти не спала, ночь за ночью по два часа, душа горит, голова устала, вся истомлена уже с утра, — и только дух бодр, бороться за трон Государя и за Бэби. А тут ещё — две недели непробиваемого пасмурного свода, сырость, тяжесть, ни луча. В такой погоде и открылась злостная Дума.

А на другой день, в среду, радость: ясное-преясное солнышко! Какое наслаждение, какая надежда: Бог поможет нам выйти и из этого положения! Быть может, с этой перемены погоды всё и станет лучше, знак! И ещё одна радость, знак: установили, наконец, прямую телефонную связь со Ставкой, и с той стороны подошёл к телефону Бэби,— но так плохо, так издалека, неясно, ничего не разобрать.

Всё — в солнце, и дурные вести от заседания Думы во вторник, какая-то грязная речь Милюкова — как бы растаяли, показались совсем несерьёзны.

А Штюрмер этим заседанием был очень расстроен: Дума и не хочет слышать ни о какой законодательной работе, а вся обратилась к борьбе с правительством; и не указывает, что же именно плохо, а — «мы или они», свалить правительство и заменить своими! Это во время такой войны, безумцы! Дать им самим ставить и снимать министров — это будет гибелью России. Все на этом помешались — но этого не давать!

И от чего ещё приуныл Штюрмер, что на этом думском заседании ему самому досталось, бедному: Милюков объявил его взяточником, изменником — и прямо сослался на Бьюкенена, а Бьюкенен промолчал! какая подлость от союзного дипломата. Хотя не такой болтун и глупец, как французский посол, но тоже неумный, а главное надменный, и очень дерзко стал разговаривать с Государем, выставляет требования.

И вот, не имея возможности затронуть престол, напали на беззащитного старика — и Штюрмер терзается, что он стал причиной всех этих неприятностей для Государя. Он хотел протеста ото всего правительства — министры уклонились, пусть старик выпутывается сам. Штюрмер считает, что Родзянку следовало бы лишить придворного мундира за то, что он не остановил, когда в Думе инсинуировали. Он поручил Фредериксу, как министру Двора, сделать выговор Родзянке, но Фредерикс по глубокой старости ничего не понял и не то написал. Итак, получилось безвыходное положение: министру-председателю нет защиты от клеветника. И остаётся подавать в суд как частному гражданину.

Правда, от правительства пошли выступать в Думу Шуваев с Григоровичем — но всё смазали, взяли неверную ноту: как бы отгораживались от остального правительства, заискивали перед Думой. А Шу-

ваев сделал и гораздо хуже: в кулуарах пожал руку Милюкову, который только что выступал против нас.

Нет, Шуваев — мешок, не годится. Ах, как нужен на место военного министра — истинный джентльмен Беляев!

Пусть! Левые в ярости, потому что всё ускользает из их рук: они видят, что создаётся, наконец, твёрдое правительство — и им тогда ничего не взять. Пускай кричат, а мы покажем, что не боимся и тверды. Думцы отвратительны из-за своего отношения к России: как они вредят ей и совсем не думают о ней.

Грустно убеждаться, что у злонамеренных людей бывает больше храбрости и подвижности, и они больше успевают, чем мы.

Но нужно предвидеть, а не спать, как в России это обыкновенно делается. На самом деле всё идёт к лучшему. Хотя и медленно, но верно всё улучшается.

Тут получилась беда с этой продовольственной переменой у Протопопова. Штюрмер находит Протопопова суетливым, а особенно теперь, после этой резкой переменчивости. О нет, Протопопов — не суетлив, это Штюрмер мешкает, не умеет ответить врагам быстро и своих министров не держит крепко в руках. Нет, Протопопов — спокоен, хладнокровен, а главное — предан, честно за нас и благоговеет перед Другом. Но, конечно, эта быстрая путаная перемена с продовольствием измучила и государыню; обескуражился и Государь, а он, отдалённый расстоянием, одинокий, хрупок, таких колебаний ему не надо испытывать. Но не огорчайся! — слала она ему вдогонку, — первое решение было правильно, и оно скоро осуществится.

При таких напряжённых событиях особенно поддерживали государыню встречи с Другом, часто — и по два раза в неделю. В эту среду вечером в маленький анин домик Друг пришёл с епископом, был настроен возвышенно и великолепно, говорил спокойно. Только очень огорчался, что едет в Ставку Николаша — впервые после своего смещения. Николаша — это злой дух. И раздражён был Друг — на Протопопова: прямо назвал, что он отказался от трусости и откладка с продовольствием на две недели — просто глупая, никакого смысла не имеет. Из-за Думы же Друг не слишком волновался: она всегда кричит, что бы там ни было и как ни поступи. Сухомлинова — освобождаем, это хорошо. А вот с Рубинштейном? Государь всё не слал освободительной телеграммы. Он опять там засомневался? Ему наговорили в Ставке что-нибудь другое? Почему он медлит? (Со многих сторон обращались к государыне о спасении Рубинштейна.)

Во всём происшедшем отчасти и сам виноват Штюрмер: он чего-то испугался, целый месяц не видел Друга, вот и потерял точку опоры. А правильно Друг говорил и раньше: довольно со Штюрмера, что он председатель, не надо ему было брать министерства иностранных дел, с этого и пошла главная травля. Сейчас Друг думал так: иностранные дела Штюрмер пусть уступит. А самому — заболеть недели на две, пока Дума искричится, пойти как бы в короткий отпуск, — в отпуск, но ни в коем случае не в отставку! — он преданный, честный, верный человек, и тихо вернётся, как только в Думе будет перерыв. А пока его заменит по закону старший из министров — Трепов. (И Штюрмер научит его, что надо оберегать Друга.)

Если б не было над государыней мудрости Друга — всякое могло бы случиться. Он — скала веры и помощи.

Конечно, к Трепову ей невозможно будет иметь такого чувства, как к Горемыкину или Штюрмеру. Те — из прежнего, хорошего сорта людей, и любили государыню, и приходили к ней по всякому тревожному вопросу. А Трепов — жестокий человек, не любит её и не верит Другу, работать с ним будет трудно.

Но ведь только на время! И Штюрмер, и Протопопов, конечно, останутся на местах. Так мало честных людей! — найдя, наконец, преданных, — за них уже надо держаться всеми силами. От нас хотят

отобрать всех преданных и добросовестных — и заменить сомнительными личностями Думы, не годными ни к чему. Нет, дело не в смене отдельных людей — спор идёт о престиже монархии. *Они* не остановятся ни на ком отдельном, они будут заставлять уходить одного за другим, — а потом и саму царствующую чету!

Оставались уже считанные дни до следующей поездки государыни в Ставку — но бурные дни, и при таком думском нажиме государыня очень опасалась, чтоб именно за эти дни Государя не совлекли, не заставили уступить. И каждый день с новой изобретательностью и новой убедительностью она исписывала страницы писем, ещё по-новому помогая укрепиться супругу, ещё от новых опасностей оберегая его.

Отправила лучшие из своих убеждений, дотягивая может быть роковую неделю, — а взамен получила сегодня в пятницу письмо со вложением: великий князь Николай Михайлович, который зачем-то приезжал к Государю во вторник (зачем? так и сжималось сердце, что здесь — новое зло!), не только брался внушать Государю, но ещё оставил мерзкое письмо, — и Ники, в среду подозрительно обминув всё событие, в четверг вложил это письмо прочесть государыне самой, — и теперь оно обжигало ей руки.

Старый ничтожный болтун! мерзкий, гадкий человек! Что он нёс — против жены своего императора, да ещё во время войны, — это гнусная мерзость, предательство! Он и все двадцать два года ненавидел государыню и дурно отзывался о ней в клубе, его речами возмущаются даже посторонние люди, он — воплощение всего низкого, ему невыносимо, что с мнением государыни начинают считаться. Как легко учить со стороны, не неся бремени и ответственности!

Закурила, хотя от этого расширялось сердце.

Не к этому ли был сон с отрезанною рукою?

Два дня постоявшая погода в пятницу опять помрачнела и угнетала страшно.

Ранило её больше всего — что за Николаем Михайловичем безусловно стояла государева мамаша и сёстры, которые тоже наслушались сплетен, — они несомненно одобряли его! Ранило её то, что Ники во время разговора — не остановил этого оскорбительного болтуна (а даже может быть в чём-то был им и поколеблен?).

Почему ты ему не сказал, что если он ещё раз коснётся меня, — ты сошлёшь его в Сибирь, ибо это уже граничит с государственной изменой? Мой дорогой, ты слишком добр. Я — твоя жена, и они не смеют. Как он смеет говорить тебе против твоего Солнышка? Даже частный человек ни одного часа не стал бы переносить таких нападок на свою жену! Для меня это трын-трава, меня не трогают эти мирские вещи и мелкие гадости, — но мой муженёк должен был бы за меня заступиться. Многие думают, что тебе всё равно.

Гадкие люди повсюду трепали имя государыни. Она получала самые отвратительные анонимные письма. Столбами поднимались миазмы и микробы из Петрограда и Москвы. Далеко не все подробности злословия докатывались до августейшей четы, но воспламениться можно было и от того, что доводилось слышать. Императрицу, англичанку по воспитанию, какие-то скоты звали «немкой» (как когда-то «австриячкой» несчастную Марию Антуанетту, или как будто хоть одна царица в России за последние два столетия была русская!). А теперь, в разгар войны, связывали это едва ль не с изменой России! Божьего человека сделали символом ненависти образованного русского общества, которое само не понимало четвёртой части того, что читало. В гнилых столицах об императорской чете говорили с полной распущенностью. Сперва Государыня и Государь надо всеми этими слухами просто смеялись: кто против нас? петроградская кучка аристократов, играющая в бридж и ничего не понимающая в России. Да ещё пока идёт великая война — обращать ли внимание на ничтожную

клевету? Всё это злословие (уже перекинувшееся и к иностранным послам!) побуждало только ещё тесней замкнуться в своей семье, никого не видеть и не слышать.

Но стали прорываться и прямые обращения дерзких лиц, да носящих придворные мундиры, осмелевших указывать, что должен делать монарх, пишут докладные на десяти страницах. (А у нас Фредерикс — рамольная тряпка, давно не годен к должности министра Двора, не способен наложить наказание за клевету на оберъегермейстера, но Ники держит старика, чтоб он не обиделся увольнением. Ну хорошо, они поплатятся в мирное время, и многие будут вычеркнуты из придворных списков.) И протопресвитер Ставки тоже полез указывать.

Миазмы клевет дымились, все имели свободу лгать, намекать, обливать грязью, — но никто в целой России не поднимался на защиту императрицы.

Неся на голове российскую корону и имея целые полки её имени — разве имела царица хоть какую-нибудь силу защиты от этих клевет? Только царственный Супруг, в грозе и гневе, мог защитить её.

Но он не защищал её даже тогда, когда, в старой Ставке, Николаша с императорскими офицерами и великими князьями обсуждали, как живую, царствующую, нераскоронованную императрицу — запереть под замок, как вещь, как зверя.

73

Приснился Павлу Ивановичу такой сон: будто бы с Лёкой они лежат на широкой кровати, но не для любви, а в одном из тех изнемождающих разговоров, какими наполнены были их последние совместные годы. А потом она стала добиваться ласки, и хотя он во сне же ощущал неестественность и запретность этого — они стали целоваться, по щекам. Вдруг чувствует, что щёки его очень мокры — отчего бы? И тогда хорошо увиживает (до сих пор совсем не видел) лицо Лёки: на её щеках в двух-трёх местах кровавые следы: не подкожные подтёки, а — натёки, как от серьёзных порезов и по форме двух дуг зубов. И тогда он понимает, что мокрость на его лице — это тоже обильная кровь. Что они не целовались, а как бы кусались, но без намерения и сами сперва не замечая. Тогда он встаёт и идёт умыться. А вернувшись видит, при непонятном невидимом свете: Лёка лежит всё на том же месте, одетая, лицо её уже умыто, никаких порезов нет, но — в гримасе боли и саможалости, как он часто видывал её, перед тем как им разойтись. А невидимый зломышленный подставил ей на твёрдой подпоре бумагу — и Лёка подписывает, совсем нехотя, всё с той же безрадостной жалостью, но не к нему, а к себе. И он понимает — что это постыдное что-то, она сама же потом ужаснётся, и говорит: «Зачем ты? Ведь люди узнают!» А она — иссушенным смехом: «А-а, всё равно!..»

И проснулся. Со щемленьем, как от всякого яркого с нею сна, а хороших между ними давно не бывало.

Никто не снился Павлу Ивановичу так часто, как Лёка. Удивительно: столько лет уже не жили и не встречались — но с той же настойчивостью и мстительностью Леокадия вторгается в его сны, как не бывало ни при влюблении, ни при семейной жизни. Эти непрестанные сны не могут быть без её воздействия, у неё, наверно, свойство такое — при сильных переживаниях посылать излучения их. А Павел Иванович был восприимчив и вообще богат снами. И так, годы не видав Лёки и не переписываясь уже с ней, он иногда почти с точностью знал, что́ там она чувствует или делает, только надо было взять общий смысл сна, это он уже привык. То она виделась ему в своём прежнем вечернем платьи, но совершенно истрёпанном, в дырьях и грязном. То — искрюченной в позвоночнике, склонённой по пояс, как

сведена болезнью или уколом. То они ехали в извозчичьем фаэтоне, но задом, не видно, был ли кучер, лошади, но фаэтон катился назад. И он говорил ей, да кажется искренне: «А я ждал тебя у нас», то есть здесь, на Малом Власьевском. И она — совсем печально, грустно помолодевшая: «Разве *у нас* ещё есть?»

После каждого такого сна, как и сегодня, он пробуждался с заболевшей душой.

С не переставшей болеть никогда.

Обдумывал сон — а потом и не заснул. Уже рассвело. Да ему, пожалуй, больше и не надо было.

С годами Павел Иванович стал высоко подмашивать подушки, а то за ночь затекала голова и целый день потом болела. И проснясь, он давно уже не вскакивал, не поднимался бодро к действию, но медленно-медленно перемещался к дневному состоянию, по мере этого, и подсовываясь выше и выше, пока уже полусидел.

И всё это время он видел — с тех пор как кровать была переставлена так, значит уже девять лет, — один и тот же привычный рисунок, первый утренний вид: переплёт небольшого оконца старого деревянного особнячка (одинарные рамы летом и двойные зимой, с ватой внизу и стаканчиками соли). В нижней части справа — конёк крыши флигеля, часть одного ската и не полностью — кирпичная труба (и все виды дыма из неё, прозрачного или густого, востекая прямо вверх или ветром гонимые, разрываемые вбок). Выше и слева — сильную ветку вяза (в листьях и нагую, и со снежным нападом, неподвижную или в лёгкой раскачке, и отдельно движение пáветвей, в пасмури или в косых лучах). А за ней — это уже за соседним домом — плечо церквушки Власия, одно верхнее ребро кладки её, не купол. И ещё дальше там — деревянная стена, кусок другой крыши.

Поставленный против кровати этот вид был девять лет, а вообще-то — сколько Варсонофьев помнил себя, потому что в этом доме он и родился, 61 год назад. Раньше — только знался, что есть такой, а вот теперь, при этих медленных вставаниях, в оттенках погоды и внутреннего настроения, этот вид определял собою начинающийся день — иногда жестокий.

Подыматься — становилось с годами задачей. А сейчас — ещё вовсе рано, только проступало серое ноябрьское утро с мокрыми голыми ветками и мокрой железной крышей. Сейчас — хоть и ещё бы поспать, такая была нерешительная в теле слабость.

С тех пор как умерла его бывшая тёща, лёкина матушка, она тоже иногда снилась Павлу Ивановичу, и всегда тоже выразительно, повторяя энергию, которой владела при жизни. Вскоре же после смерти она привиделась ему быстро идущей по Арбату с небрежно распущенными серо-седыми волосами, Павел Иванович еле за нею поспевал, а прохожие были, но как и не были, с ними они не сталкивались, как бесплотные. Тёща на ходу выбрасывала руки, быстро что-то показывала и говорила неразборчивое — о магазинных витринах и даже кинематографических вывесках. И вдруг исчез Арбат, и движенья не стало, а она сидела матрёшкой, в деревенском платочке, румяная, и сказала жалобно: «Пашенька! У меня к тебе просьба: возьми меня к себе!» Но Варсонофьев и во сне понял, с шевелением волос, что это — не в дом жить, но что она же — умерла, и хорошо, что не зовёт *его к себе*. Возразил: «Марья Николаевна, как же я могу, это невозможно.» Та пригорюнилась и сказала: «А ко мне в гости приезжают», то есть значит с Земли. «Как же это понять?» — недоумевал он и во сне. Она ответила уже холодно: «Как хочешь, так и понимай.»

Варсонофьев привык считать такие сны не пустым калейдоскопом бессвязного воображения, но истинными душевными встречами — с живыми или умершими, только зашифрованными всегда, иногда слишком для нас трудно, а иногда мы не хотим потратить время разгадать. Из той жизни никто не может выразить живущим здесь свою мысль

адекватно — и наша случайная с ними связь всегда обречена на неточность, на догадку, на истолкование. А характер и настроение — так почти и нескрываемо выражаются во снах всегда. Слёзы и горе, видимо, преобладали в настроении Марии Николаевны в загробной жизни, как и последнее время на земле, когда она болела долго. Раза два она приснилась ему плачущей в горькой обиде — и оба раза (но совсем не в одну ночь) почему-то над рыбой, даже грудью припав на стол к тарелке с жареной рыбой, которую она ела. И ясно было, что плачет она не так о себе, как о Лёке. А ещё раз — будто Павел Иванович лежал, не могчи встать, а Марья Николаевна стояла у ног его в санитарном халате и больно скручивала ему пальцы ног. Как мстила.

Состоянье твоего греха по отношению к живому постоянно меняется: какие-то если не поступки, то пробежавшие мысли минувшего дня или узнанное что-либо меняют окраску твоего долга, твоей вины и соотношение тебя с тем человеком. А по отношению к умершему грех застывает уже навсегда: иногда чёрен и жжёт безщадно. А иногда — приосветлён, как безысходный манок, привет между двумя мирами.

С Лёкой жизнь Павла Ивановича осталась — будто где-то в стороне, не при ней и не при нём, такая, что нельзя было отличить начал и концов, причин и последствий. Ни он, ни она, ни порознь, ни вместе не могли бы всё распутать и разобрать, а тем более — никто со стороны, никто за них, и ни у кого б терпения не хватило выслушать все доводы сторон, исследить историю истинную и произнести приговор. И только удивлялся Павел Иванович долго себе, что у него хватило воли вырваться из этого мясорубного месива и отползти вылечиваться.

Это защёчное сжатие жалости и горести, которые он сегодня увидел на её лице, когда она говорила — «а-а, всё равно!», — ка́к оно было ему знакомо, сколько раз он его видел в последние тяжёлые годы их: одновременно снисходительная усмешка над его недостойностью и безнадёжное горе по себе.

И ведь все эти годы, по 365 дней в каждом, проживает же и Лёка — его венчанная и неразведенная, и давно совсем чужая (без его влияния всегда чужела мгновенно), — и вот, по снам видно, вспоминает о нём едва ли не каждый день, и может быть сегодня в Казани приснился ей такой же симметричный сон.

И зачем-то рожали, растили, учили дочь — а та вся влипла в замужество (да и хорошо, что так! так и быть должно), но отстранённо далекое, и уже неважно, какая там у неё была девичья фамилия — Варсонофьева или другая, из какой семьи вышла, — а важно: ушла без касаний.

Это время медленного просыпанья, усильного подтягиванья себя от ночного небытия к дневной необходимости, было и время косого перебора воспоминаний — какие сами вскочат и пробегут.

Теребящая сила воспоминаний, при которых прошлое кажется реальнее настоящего.

Ах, стало тяжело Варсонофьеву просыпаться, начинать день. Как будто ещё же не так стар, — но как овязано пробуждение этой неспособностью — молодо вскочить, действовать. Неспособностью не только тела, а ещё больше — сознания. Сознание, наиболее тяжело погружённое в ночное состояние, наиболее медленно из него выникает, осторожно и недоверчиво возвращаясь к этому миру.

В эти первые минуты возвращения мир кажется так горек, так труден душе — тягостью жить в нём, волочиться по нему. Так трудны свои обязанности. Так нескладно и плохо — уже сделанное.

Совсем нет прежнего утреннего уверенного: скорей вскочить, скорее к делу! Уже нет прежней заинтересованности во внешних действиях, в успехе. Безразличие.

Теперь — мало вспоминалось в прожитой жизни дел, которые не надо было делать иначе.

Так и с Лёкой. Разъединение с ней сперва он считал только из-

лечением и единственным спасением души. И надо было пройти пяти-семи-восьми годам, чтобы понял Павел Иваныч, что на этом разъединении он надорвал себе душу. Как будто навсегда потерял лёгкость и навсегда ссутулился.

Теперь так он видел. Ошибкой было когда-то — соединиться с ней, в неё поверить. И ошибкой было — жить с ней столько лет. И ошибкой было — с ней разойтись. Всё и каждый раз — было ошибкой.

В пожилом возрасте сердце становится ощутимо-тяжёлым, и носишь его как груз. Все проблемы пройденной жизни, такие даже лёгкие в свои десятилетия, как будто проскоченные нами благополучно, как будто спавшие с нас давно, — вдруг оказываются все здесь, все наслоились плитами на нашей груди — и додавливают.

Но даже и привязался Варсонофьев к этим своим трудным, медленным, одиноким вставаниям. Так полчаса, иногда и целый час он мог лежать совсем неподвижно, не имея ни сил, ни нужды дотянуться отщёлкнуть, посмотреть часы со столика. Не имея потребности истолковывать суетливые звуки жизни, если они достигали. Лежал — и думал, как мысли сами потекут, не задавая их. Смотрел на тёмный резной небелёный потолок — и из его резьбы вычитывал.

Сознанье постепенно возвращалось и в высшую область головы — и Варсонофьев подтягивался по подушке вверх, вверх. И ждал ещё минут, когда сознание, уже обратным током, распространится волею по телу — через грудь в туловище, и по рукам, и по ногам, — и готово будет тело покорно встать и понести бремя.

Вздохнул — и спустил ноги, уже без труда. В комнате показалось холодновато. Привычно взял халат со спинки кресла, заложенного книгами вечернего чтения, надел, пошёл, постепенно и разгорбливаясь.

Не годы его гнули, а мысли.

По пути потрогал белый кафель голландской печи. Еле-еле была тепла. Надо, чтобы сегодня покрепче протопили: сыро, пасмурно, мерзко за оконцами, кажется и морось.

Прошёл ещё две комнатки с низкими потолками — мимо сундуков, книжных шкафов, японской ширмы, журнальных стоп, какие от пола, какие от стула, опять шкафов, комода, гардероба, всё прошлого века и всё не передвигалось пятнадцать, двадцать, тридцать лет, волчьей шкуры, опять книжной полки, до отказа забитой книгами на всю высоту, стоймя и лежмя, в старых кожаных переплётах и свежих совсем. Мимо груды высохших дров, уже на антресолях, над сенями. Большого самовара на 20 человек, не употребляемого. И стал спускаться по скрипучей лестнице.

В конце просторных сеней за большим ларём была и двойная выходная дверь с сине-стеклянной ручкой. Павел Иванович сбил туговатый крючок и, припахиваясь от сырого холода, высунулся наружу, залез рукой в деревянный почтовый ящичек. Все три газеты были здесь — две московских, одна петербургская, с опозданием на сутки.

И уже не запирая крючка, чтобы ход был прислуге, теми же ступеньками всходил.

Хотя достигнутое наконец утро тянуло Варсонофьева к самому счастливому — одинокому размышлению и работе над бумагой, чем и строится душа; хотя уже лет более пяти назад Варсонофьев окончательно осознал, что ни одна газета не может принести ни ему и никому никакого прояснения мысли, а лишь исплощить её, уповерхностить или заострить в направлении партийном, — но, как курильщик или пьяница, не мог отказаться от этой страсти: совсем изгнать газеты из своей жизни он уже не мог, был отравлен. Чаще он пытался не брать их в руки с утра — тогда сохранялось несколько лучших утренних часов мысли; после обеда газеты, как и курение, не так отравны. Но иногда, хоть и запретив себе, а всё же механически шёл и брал, — и так губил день, если не изгаживал душу. А сегодня он пошёл даже и сознательно, не дотерпливая прочесть о думских заседа-

ниях или хотя бы увидеть, как много или не много белой полосы выкатала цензура.

И не дойдя до кабинета, на столике рядом с бездействующим самоваром он развернул и, полунагнувшись, полуопираясь рукой, стал смотреть. Да, белых цензурных пятен было изрядно, и они-то больше всего кричали и выражали — гораздо богаче мыслью, чем эти ораторы на самом деле могли произнести.

И прежде всего, конечно, прочёл речь Милюкова.

И был поражён её ничтожностью. Даже не в сравнении с высотами человеческого ума — но с холмиками милюковского. Не речь государственного человека, а какой-то перебор сплетен. Силы речи, силы обращения к собранию у него и никогда не было — ни хватки, ни образов, ни блеска, — а только улавливал он среднюю мысль аудитории и средней же мерою её выражал. В Милюкове отсутствует созерцательная глубина, в нём нет сознания выше позитивистского, и вот эта ограниченность даёт ему напор быть политическим вождём. Выше минутного политического лозунга он и не может дать ничего ни своей партии, ни своему парламенту, ни своей стране.

Не только знаком был с ним Варсонофьев, но и два раза держал с ним публичный диспут — о «Вехах». Даже это — самая резкая чёрточка в Милюкове: как разъярился он на «Вехи» и понёсся во всероссийское турне — опровергать эту книгу, раздражавшую, дразнившую его своей глубиной.

Удивительна и его научная бесплодность: неаккуратность с источниками, назойливые *выводы* вместо фактической истории и честолюбивое стороженье своего престижа. При всём том он оценивает эту страну до себя не доросшей: недавно в Христиании жаловался на недостаточность «восьми культурных поколений в России» (считая их, конечно, от Петра). Сам собою он постоянно любуется и — проговаривался — меряет себя под Герцена. А между тем — лишён дара счастливой лёгкости, да даже кругом неталантлив.

Да и сам Варсонофьев тоже ведь начинал вместе с ними со всеми — с Петрункевичем, Шаховским, Вернадским. В 1902 году уже назначали его — ехать за границу, выпускать там «Освобождение», — это представлялось тогда как обречённость эмиграции навечно, маячил и тут образ Герцена. Но взялся выпускать молодой Пётр Струве.

Да всего десять лет назад Варсонофьев был в их крикливой, мелочной толпе, с Родичевым, Винавером, Милюковым. Вполне искренне был горячим депутатом Второй Думы — и ещё не усумнялся в жаре борьбы. И ему, как другим, третьиюньский разгон Думы казался насилием, не имеющим себе равных в истории!..

А ведь он был и тогда не мальчик, уже пятьдесят.

Останься тем же — он и сегодня был бы вот на этих газетных страницах. Даже дико.

Всего удивительнее в нас, как мы бываем искренни на разных поворотах нашей жизни — и как почти нацело это потом всё в нас меняется. Поражает несомненность и предшествующего убеждения и сменяющего.

Так всё повернулось в Варсонофьеве, да и не вовсе медленно: зачем он тогда так страстно бился? Всё было не то. Суетливый, самодовольный Союз Освобождения — как стая крупных глупых птиц, дружно хлопающих крыльями.

Нетерпеливая тщета: хотели поворачивать ход такого корабля, не доникнув до его сущности. А ход — непостижим нашим умам, и мы имеем право только на малые, на малые тяги. Без рывков.

Пять десятков? шесть десятков? семь десятков лет? надо прожить, чтобы понять, что жизнь общества не сводится к политике и не исчерпывается государственным строем.

Время, в котором мы живём, имеет бездонную глубину. Современность — только плёнка на времени.

После Гурко — оставалось уезжать. Но нужный поезд шёл только утром. Воротынцев выписал в отделе железнодорожных сообщений билет — и остался ему ещё один свободный вечер в Могилёве. Соображая, как бы лучше провести его, с кем бы ещё повидаться, пока здесь, Воротынцев придумал ещё раз зайти на почту: а вдруг от Ольды — да второе письмо? Жалко будет его не захватить! Да вот и самое лучшее: вечером сесть да написать ей большое, вчера невозможное во взбитых чувствах. Теперь, когда решилась опять Румыния, и неизвестно, когда доведётся встретиться, — провести вечер как бы с Ольдой.

Только площади и Большой Садовой улицы было не узнать: снег, сугробы от расчистки, холодно, поужевшие тротуары, никакого гулянья, и закрылись лавочки у монастырской стены, только магазины и аптеки сверкали по-прежнему. Неузнаваемо другое какое-то место, не то, где было так романтично вчера.

Но у того же полированного почтамтского барьера тот же строгий чиновник, так же недреманно и нескучливо перебирая конверты, протянул Воротынцеву ещё один!

Жадно принял сверхожиданную награду — и сразу шагнул. На ходу глянул на адрес — не понял.

Не сразу понял.

Остановился.

Как странно: не сразу вместилось ему, что — от Алины!

Не ожидал...

Уж её-то почерка ему не узнать! — разметанного, с вычурными вскидами и овальными петлями вверх и вниз.

Но: крупней. Ещё разбросанней. И почему-то страшней.

Не ожидал. Думал — до полка, ещё когда там напишет. Думал — какое-то время можно эти дрязги не вспоминать.

Откуда ж она догадалась?.. Да, он же сам показывал ей телеграмму Свечина. Как будто не заметила? Но он её нарочно и на столе оставил.

И письмо было — вот.

Что-то отчаянное в этих разбросах почерка. Как и в последнее московское утро.

А может — «не получил»? Ведь это случайность, что он зашёл на почту, мог и не зайти больше. Оставить всё это тяжёлое — до полка? До штаба армии?..

Жалко было разрушать вчерашнее счастье — небывалую тёплую ноябрьскую ночь, под снег. Ещё после Нечволодова ходил, ходил по тёмному Валу, уже в холодающем ветре, всё не мог уходиться. Клубился Ольде ответ, а ни строки не написав, свалился спать.

Но Алина — существовала, вот. И забыть её было нечестно.

Подошёл к стоячей конторке, уже другой четвертушке, взорвал конверт пальцем, оставляя рваную рану.

Обращения — не было, и от этого сразу — как раздиранье одежд:

«З а ч е м мне муж, для которого я — не лучшая из женщин? Зачем мне муж — не лучший из мужчин?»

И вслед за этим её дёргом Георгий потерял ритм ровного чтения, не мог заставить себя читать строчки подряд и вникать, а нервно перебегал, ища дальше чего-то страшного и непоправимого.

«Мириться с тем, что есть о н а, — я не могу ни одной недели! Знай: для роли «одной из жён» я не создана!.. Ты думаешь, в таком аду можно жить? Знать, что может быть сейчас ты поехал к т о й? Да мне во много раз легче расстаться с жизнью!»

О, Боже.

«Но кончить с собой ты мне не разрешил.»

Ну, обойдётся.

Но, сразу перескочив на полстраницы вниз, — как находя? как будто притягиваемый самыми жуткими строчками? —

«Я могу пройти этот путь только ценой самоубийства!»

Он вспомнил её вздрагивающее горло. И обморок в пансионе, обмирание рук от сердца — ведь это всё десятки раз могло с ней повториться за эти дни и без самоубийства, — а он её бросил и так легко ехал, и так освобождённо было ему!

Она же — вытягивала из слабеющих сил:

«Чтобы остаться жить, у меня выход только один: оставить тебя!»

Пол — ушёл из-под ног Воротынцева. Ноги стали невесомы, и всё тело: после угрозы — он взлетал в радость, радость полосанула по сердцу: свободен??

Да он, оказывается, этого и хотел! Этого и хотел, не смея мечтать, не смея заикаться, сам себе признаваться.

Опять, как вчера, на мгновение он почувствовал себя летящим, кричащим воздушным шаром. Но только — на миг, и вот уже снова тянули его долу тяжёлые строчки:

«А чем — ты для меня пожертвовал когда-нибудь? Чем поступился?»

Правда. Он жил, служил — не для неё.

«Выбирай одну из нас, только не в Петербурге. Да хоть езжай и к ней! Я не прошу снисхождения! Я переросла снисхождение! Я вышла из обморока.»

Свобода! Свобода! — ликовало в нём вопреки разуму, как же он этого ждал!

А строчки — криком раздирающим, будто наступили на живое:

«Ты — свободен. Но и я — снова свободна! Я, может быть, паду! Я, может быть, стану гейшей, но я — свободна! Жалкой — ты больше меня не увидишь!»

И подписи тоже не было.

Георгий зажмурил глаза. Горячей болью сжигало их. Плавило.

Он с детства забыл это ощущение.

Мешало ему во сне как будто жжение и всё более сильное, чем прореженней становился сон.

Не переносное жжение, а настоящее: как будто йодной палочкой касались стенки сердца. Не переносного сердца, а — подлинного, левее средней оси груди, того, что кровь гонит, а вот — перебивается, с перебоями гонит. От жжения.

И всё больше прожигая сон, это нестерпимое йодное жжение выкололо его изо сна — и ещё наяву продолжало жечь.

Нет, не вышло ему спрятаться во сне.

И ночь, по чувству, ещё далека до конца.

И раздвинутая тьма, с непробледнённым окном, тем верней забирала его этой мукой.

А ведь с мукой такой же, неделю назад, и несколько ночей подряд, вот так же металась Алина, и так же жгло её в стенку сердца, — нет, хуже, наверно! — в десять йодных палочек. А он воспринимал снаружи почти как красивое: похорошела, смягчилась. И казалось, что как-то можно мирно, доброжелательностью необыкновенной...

А — вот оно, догоняющим проколом теперь: девочка моя слабенькая! что ж я на тебя обрушил? Объяснился, уехал, — а тебя оставил сжигаться!

Он сам был поражён жестокой силой, как стало ему жалко Алину. Он еле скрывал слёзы на обратном пути с почтамта — и скорее заперся в комнате. Он в пансионе — не испытывал такой силы жалости.

Беззащитностью своих милых серых ослезённых глаз выставилась ему Алина, и в темноте явная, как освещённая, из раненого своего далека.

Что ж он наделал? Беда какая. Что ж он наделал с ней?!

Она только и живёт — любовью к нему. До чего ж ей нужно было дойти, чтобы кинуть себя жертвой. Освободить его!

Но о таком — он не думал! Он ничего такого ей не говорил! Он говорил, напротив: я тебя ни за что не покину!

Делить — она не может. Сразу порыв — разойтись! Готова — разойтись! Сама не представляет, что́ предлагает, не видит, как скоро сама сокрушится.

Вспоминалась эта «гейша», этот крик её надорванный, кажется уху слышный сорванный голосок. Неумелая моя, да разве ты смогла бы?.. А — срыв голоса, когда берут не по силе, как девочке захотелось бы петь взрослую арию. Это в ней есть! — в крайность, в пропасть порыв, не соображая, только что-то бы кому-то доказать!

Освобождение? — ещё не испрошенное, ещё даже в мыслях не развернувшее крыл? — и вдруг свалилось на голову. Освобождение — как кирпич.

Жертва Алины — отняла у Георгия всю лёгкость. Нельзя представить, что когда? — вчера? — ну да, тем вечером — он нёсся с почтамта на Вал весёлый, легконогий, молодой, — и впереди вот не ждал, чтобы что-нибудь омрачило, отняло добытую его радость.

А — вот.

То, что в Петербурге он принял за ослепительную удачу своей жизни. Что в Москве ещё виделось как новая бойная струя, влившаяся в жизнь. Вдруг теперь откинуло его навзничь во тьме — как безысходное несчастье. С которым соключиться и жить постоянно — невозможно.

За клубами этого несчастья заглушились вчера звеневшие ольдины слова — и он не расслышивал их сейчас. И затмилось её тонкое умное лицо, стояло как позади протягивающих дымов — и всё сразу не давалось охвату зрения, а где реже дымка — то печальный глаз, то напряжённая складка несогласия на лбу, то подрезанная верхняя губа. А всё вместе — не давалось. И не доносилось ничто.

А алинин надорванный крик так и прореза́л уши, стоял иглою.

Это — её характер! Из бессилия — вдруг взлёт! тройные силы! гордость с закусом губ: она *сама* должна решать! не кто-нибудь за неё! И только так решать, как первый толчок её повёл! Я — не лучшая из женщин? Расстаёмся!

А через несколько часов или даже минут — сорвётся и сникнет.

«Ты увидишь меня в таком бле...»

Да разве она представляет, на что решается? Да разве она сумеет без него жить? Выздоровеет?

Да ты ж надорвёшься, бедняженька! Да разве я это допущу? Родненькая моя, до чего ж я тебя довёл?..

Не сердце у него болело — а вся грудь, как изломанная.

Но — Ольда? Но — Ольда! Но — Ольда, какая не снилась ему никогда? Покажись же, покажись же за этими дымами! Дай тебя увидеть и услышать! Помоги же! Ты же умница, всегда всё знаешь!

Нет, не давалась.

Только клочками.

Клочками воспоминаний.

И вспомнились вдруг её — её же — слова: всё человеческое умение — иметь дело с тем, что есть, а не придумывать, чем бы заменить.

Она — о другом сказала, а вот...

Что ж, в этом — рок. В этом — долг? В этом — бремя возраста. Сорок лет — это не двадцать, надо было все глаза открывать в двадцать.

Сбил, попутал генерал Левачёв.

Да-алеко откатился сон, безнадёжно.

Навзничь под этой глыбой темноты — от этой темноты он был особенно беспомощен: всё должно было прожечься, провинтиться через него.

Да ведь — разве они друг друга не любят? разве не сжились? Как же — расстаться?

Сколько хорошего! Да почти только хорошее, трогательное, даже умильное, вспоминалось сейчас из их восьмилетнего прежнего быта. И как терпеливо она делила годами нищую офицерскую жизнь, так и не поживши всласть. И зная, что развитые офицеры из армии обычно бегут, — никогда не понуждала его. Да и Шопена с Шуманом за стеной — он правда любил...

Тем беспомощней он был застигнут, что никак не ждал. Никак. Ничего подобного.

Да и почему это всё так страшно раскрутилось? Разве оно должно было непременно вот так раскрутиться?

И всё ему — за то, что он сказал правду?

Значит, надо было, как все: скрывать, молчать?

И с чего всё началось? Из трансильванской дыры — всем уплотнённым зарядом — черезо все пространства пролетев бездельно, ненужно, позорно, — неразорванным снарядом шлёпнулся в болото.

В какой-то паралитичной схваченности лежал.

Вот это и болело сейчас: за всю жизнь чего он никогда не терял — уверенности в своих действиях. Спасительное всегда было в нём: уверенность в хорошем исходе. Не уверенность знания или размышления, а такое прирождённое внутреннее чувство, как часть существования: как ни плохо — а всё-таки хорошо! выше плохого всегда стелется хорошее, а за дурным всё равно прорвёмся к доброму. Это был постоянный мир с самим собой. И как бы мрачно ни виделись ему события, а в душе сохранялся добрый свет, он просто не живал иначе. И если это чувство на короткое время подавлялось — он всегда ощущал как болезнь.

А сейчас — он потерял это чувство, и испуг был — что навсегда.

Все эти недели он поступал, не усумнясь, — и вот оказалось всё плохо, всё потеряно.

Горло сжимало, как щипцами наискось.

Да! — кольнуло: там что-то же опять и про самоубийство? (И это — не первый раз, это настойчиво!!)

Спохватился: да он не прочёл как следует, он не помнит письма! Он его и перечитывал несколько раз, а головой беспонятной, и так, чугунея, ушёл спасаться в сон. Надо перечитать сейчас же!

Забыл, где выключатель. Стал — спички искать. (Вот что: не спал, горел в темноте, — а не закурил ни разу, забыл!)

Со спичкой включил верхнюю лампу.

Оказался — одет полностью. Только без шашки и сапог.

Пошёл к столу читать.

Но как же она любит! — «во много легче расстаться с жизнью»!

И: —вот как ты отплатил за всю мою верность, за все мои жертвы. За то, что я никогда тебе не изменила. Что я отдала тебе свою молодость. Приняла роль скромненькой жёнушки, устраивающей уют для твоих занятий. И за всё это теперь — п р е д а т е л ь с т в о?..»

Вот когда закурил, закурил! Вслед за первой и вторую.

В носках ходил по номеру.

И ещё дочитывал:

«Очнись! Почему должна бороться с собой я, а не ты?»

Это — верно. Он — сильнее. Ему и бороться.

И если даже любовь уже не прежняя, то — отвечает за Алину он, не она за него.

Только бы сейчас эту встряску пережить, а там как-нибудь это смягчится, примирится.

А — как Ольда предполагала? Что она — говорила, думала?

Не вспоминал. Не мог вспомнить. Тогда, там, не задумывался.

А сейчас, при зажжённом свете Ольда была ещё меньше видна, чем в темноте.

«Чтобы остаться жить...»!

Чтобы остаться жить...

О, как попал! Как разворотно-мерзко на душе!

Выхода — нет.

Чувствовал себя убийцей.

Да — времени нет! Надо — скорей, сейчас, вот сейчас. Ещё новая вспышка — и она...

За то время, что шло письмо, — и то уже может быть...

«Пройти этот путь только ценой самоубийства»...

Возьмёт — и...

Почему должна бороться с собой — она?

Это верно.

В отчаяньи — чего не сделаешь?

Вот что, надо телеграмму дать! Смягчительную, ласковую телеграмму. Чтоб сегодня же утром получила.

Было очень-очень рано ещё, но на телеграфе всегда дежурный.

Быстро натянул сапоги.

Одеваясь, увидел себя в зеркале, на внутренней стенке шкафа. Какой-то старый, помятый, потерянный, с воспалёнными глазами.

Сразу ссунулся в старость, и чувство такое. Ушли его сорок.

Пошёл по гостиничному коридору, смягчая шаги. Все спали ещё.

И на улице — тьма, и холодная снежная сырость, напродрог. Злая какая-то сырость.

Небо без звёзд, без луны. Кое-где фонари на углах. Все окна тёмные. И прохожих нет.

Шёл — пригнутый, не военный. Как собака побитая. И поверить было нельзя, что вообще когда-нибудь в жизни ещё вернётся весёлая лёгкость, позавчерашняя.

Алина — просто слишком трагично всё воспринимает. Всегда так, и теперь так. Ведь он повторял ей, повторял: я никогда тебя не оставлю, этого и в мыслях у меня нет. И вдруг первое, что она предлагает, — перерубить?

Нет, он ей в этом не соучастник.

Алина-Алина, я ведь тебя люблю! Помни об этом.

От ходьбы, от движения к действию — уже не так жгло. Смягчалось. Возвращалось в привычные размеры, в привычный ход.

(А та лёгкость, нет,—всё ж залегла уголочком в груди, держалась.)

Он шёл мимо тёмной каменной высокой монастырской стены, облепленной заснеженными лавочками.

И вдруг миновал широкую калитку, полотнище её было распахнуто. Мелькнуло тёплым светом — и он шагнул назад, задержался против проёма.

Полотнище было распахнуто — и дальше были распахнуты церковные двери — и виделись внутренние остеклённые: там, дальше, было немало огня, различались столпы подсвечников со свечами, служба уже началась или готовилась.

Но ни звука не было слышно сюда и даже не видно фигур внутри — священника, или монастырских, или прихожан.

Если служба шла — то как будто сама, без людей, ночная.

Поколебался — не зайти ли?

Но нет, телеграмма не ждала, надо было спешить.

Зашагал к телеграфу.

Единою задачей влачимый черезо всю жизнь, и всегда спеша, — так он и прошагивал всегда.

75

Темнота.

Тишина.

Но — не могила, ты — в жизни ещё. А полмига, четверть мига, по-

ка не вернулась память никакая, ни о чём, — лежишь как не знавшая горя: проснулась.

Только — полмига. И тут же — уколом! — самое последнее, вчерашнее! Но не последнее одно, а — уколами — уколами сразу и вся цепь. И всё это — в голову больную, в грудь больную, нет сил!..

Что бы вот так — ничего не вспомнить, просто полежать? Просто отдохнуть, послушать, как тихо, тихо, тихо по всей Араповской, во всём Тамбове. Нет! передачей молоточков — Письмо вчерашнее — Могилка детская — Женькина смерть, Типуленьки — Последние дни его — Из Тамбова опоздала — Пустынная горечь от свидания — Двое суток блаженных, не знающих о беде, — в этой самой комнате?

Могилка сельская, в осени сырой.

А у него — другая?..

И так прожигая, по одному месту, повторно, и одни и те же борозды прожигая в мозгу, как электричеством выжигают — отпустите!! отпустите, выключите!!

Зачем же он теперь такое пишет?!

Выбилась, разорвала. Лежала как в обмороке, спасительном забытьи, отключась от этой всей колющей цепи.

Но — боковым прожогом, по другой дорожке, как будто не о себе, а из другой жизни: мама умирала — скрылась беременной, легче ей не увидеть дочь никакой, чем такой, — не донеслась глаза закрыть.

И — уже из третьей жизни, совсем посильное, так жегшее раньше, а теперь уже не жгущее, теперь такое дальнее: женькин отец.

Тогда казалось — сложнее нет: как это всё разрешится? Как убедить его, что надо сказать жене? как ему храбрости придать, ведь не осмелится? А почему это было так надо? Тогда было так, сейчас и не вспомнить. Ведь не думала же его отнять, слабого такого, не способного на прыжок. А — униженье душило: начинать какой-то тайной прикладкой, не личностью, воровкой скрытой? — нет, пусть будет ясность.

Какой слабый мужчина. А много ли их сильных? Там, где нервы натянуты, они не сильны. А разве Фёдор не слаб?

Слаб! И слеп! Запутался! Плывёт обрубком дерева, куда течение приткнёт! Когда с ним — прощаешь за его простодушие, глаза изумрудные, берёшься верить, берёшься тянуть его вверх, — а расстанешься — что было? Пустота. И — ещё пишет, что... ?

Отпустите! Выключите!

Женькиного отца вспоминать — сейчас спокойно, одно облегчение, вот и стараться. Она узнавала его по Чехову, — верно списано, такие они бродят: милые, приятные, мухи не раздавят, и дела никакого не совершат. Тоска или мечта? — вечный поиск, но и не настоятельный: что найдётся — и ладно, как сложилась жизнь, так пусть и будет. (Да и Фёдор же такой!) И с самого начала предвиделось, как это кончится: останется он в своей скорлупе, всё такой же умеренно-ищущий, а разобьётся только сама Зинаида. Уже провожая её в деревню рожать, обещал непременно скоро приехать, вот тотчас же! А там дальше и жизнь перестраивать — для сына! И не лгал, ведь верил.

Но даже не приехал сына посмотреть.

Мужчинам живётся шире, легче, они и не пытаются себя понять, не нуждаются прорабатывать себя в глубину. А женщина живёт тесно — и всё в глубину, в глубину.

И т а — тоже ведь? И т о й — тоже? И — в глубину? Допустить — полужизненная она, полуженщина, а всё равно: прожигает?

Но Типуленька-то — умер!!! Мальчик! Женечка! Так на земле ещё ничего и не поняв, не различив ни мест, ни лиц, ни частей своего даже тела, — одну только мать, и то размыто. Ещё не вырвался из небытия, три четверти времени во сне — и туда же опять. Только-только снялось это старческое выражение, с каким младенцы узнают негостеприимный мир, — и назад... Еле-еле волосики пробивались, голова

только-только подправилась ближе к человеческой, подобрался затылочек, — и посинели губы. Н е т у.

Проклятое «скажут». Для себя — никогда совсем не боялась Зина «скажут», но — чтобы мать не убивать. А не приехав к больной — её подтолкнула туда же? Так — на похороны? Снова «скажут», зябко.

Может и т а — не так за мужа держалась, как «скажут»? Невыносимо ведь.

А для Фёдора — приехала, примчалась, не постыдилась сестры с мужем, не побоялась никого, ничего: к нам! И в гостиной, где всё их детство, куда и он приходил когда-то знакомиться с семьёй, и гимназистка замирала от смиренного восхищения перед бывшим членом Государственной Думы! пострадавшим! и писателем! с изумрудными попыхивающими глазами! — теперь в той самой гостиной по воле его прохаживалась нагая, а он лежал на диване и теми же зелёными глазами скользил.

Три недели назад, всего три недели! — вот тут бродили, беспутные, а сын в Коровайнове уже заболевал!

Но хотя подтвердилось её предчувствие, шесть лет дразнившее, манившее девчёнку в отдалении, что с Фёдором откроется ей. И хотя эти два дня встречи она не успела очнуться, — но уже нарастали в ней пустота, обманутость, — и всю её залили, едва расстались, едва только села в кирсановский поезд, и низменны показались собственные восторги, всё обман, муть, — даже до отвращения; зачем приезжала? Скорее к сыну назад! И тревога колющая: что́ с сыном брошенным? здоров ли?

О своём таком же, покойненьком, крохотном, там, на коровайновском кладбище рядом сказала крестьянка: «чрева моего урывочек».

Чрева.

Моего.

Урывочек.

Нету.

И — самой бы тоже...

А что?

Так никогда никто и не увидел её затаёныша. Ни отец. Ни... отчим. Некогда всем. Жил как не жил, только в памяти матери. Ни фотографии. Никогда никому не покажешь.

Как она и хотела? — скрыть...

«Отчим»! Он своих-то детей без любви разбросал, небось не знает даже. Одного только отличил, взял в приёмыши. Что за бездарность мужская — не уметь любить своих даже собственных детей?

А если бы у *них* был — неужели бы не приклонила? не притянула?..

Уже в кирсановском поезде ехала в отчаянии: едва началось — и всё кончено! этого нельзя продолжать! вот только что началось — и кончено, и нечего вспомнить. Он—безнадёжно груб душой, не развит, он ничего не понимает выше! Науку жестокую принимала она годами из его писем, он сам писал про женщин, отталкивал, пальцы сбивал — не держись, но она понимала это как грубоватую игру, что не дорожит, в любую минуту вычеркнет, она поверить не могла, что всё именно так: женщины не по выбору, не по поиску, а где меньше затрат на ухаживание, никого не добивался, никого не пропускал, — она же помнила его светлую улыбку и даже милую стеснительность на уроках словесности, она всегда верила в его душу, душа залегала — и только нуждалась очиститься, душа просила помощи от женской руки! — и это всё могла его ученица с первой парты! И шесть лет она держалась стрелкой компаса сквозь его грязноватые откровения, верила, что всё это поза, что там, под поверхностью, заложено никем не открытое, не добытое, ему самому не известное. Он потому и откровенничает, что не знал любви никогда.

И ещё как вознадеялась, ещё как воспряла, когда он смог не взревновать к чужому ребёнку!

И вот — они были вдвоём, в объятиях, — и что же? И — нет ничего того?..

То-то всегда она боялась узнать его ближе! Рвалась — и боялась.

Ещё не доехав до сына, ещё не узнав о его болезни — она была уже в отчаянии, в отвращении, — не встречаться больше, да может и не писать.

Пу — сто — та!

Пустота! На целую бы жизнь вперёд протянулась бы женькина жизнь, а теперь — пустота! Другим человеком, другим ребёнком не заполнится, не пройдётся никем! — этого существа никогда уже на земле не будет. Вся несостоявшаяся жизнь так и промерещится — ни с кем не связанная, не пересеченная.

Ещё до того не захотелось ему писать. А когда закатился Типуленька — всё прочернело до немоты. Что писать ему? — чуда не будет.

Предательство: кинуть мальчика беспомощного, чтобы только самой...

Но — второе предательство, хуже: под тою же крышей, сейчас, в том же доме пустом, под тот же бой часов — и думать, и жечься опять о нём? не о Женьке одном?

Смерть сына так неожиданно и просто ввела в церковь, куда никогда не долегали пути всей юности. И так, будто всю жизнь и ходила. Так просто стояли у гробика и крестьянки-соседки. Несли его.

Но от той панихиды и до панихиды девятого дня усидеть в Коровайнове не могла — бросила могилку одинокую — теперь навсегда одинокую, теперь навсегда ему быть почему-то на коровайновском кладбище! — и помчалась к тёте в Тамбов, в монастырь Вознесенский.

Тётя — и всегда звала: будет плохо — приходи. Но всё, что могла она говорить, вело к загробному утешению, всё не касалось кипящей жизни. И прежде дерзила ей Зинаида: оставь, тётя, Бог-утешитель — абсурд: для чего было мир хлопотать создавать, чтоб его утешать потом?

А тут оказалось — и просто, и очень утешенье это надо — как будто застывающей, сладковатой смолой заплавлялись бездны и режущие камни. У тёти нашла Зина первое равновесие.

Она стала думать уже не так, что с сыном её никогда ничего не совершится, не произойдёт, не будет, а: где он? Где он теперь? Чтоб он нигде — этого быть не могло, это понятно! если уж пожил немножко — это не может равняться тому, что и не был зачат.

Чрева. Моего. Урывочек.

И попался священник отец Алоний в соседней Уткинской церкви — такой доброжелательный, простонародно-основательный, широкоплечий, — он служил панихиду девятого дня, а потом разговаривал с Зинаидой. Как-то просторно-светло говорил. И равновесие её ещё укрепилось.

Да Зина и прежде сама, не веруя, защищала церковь от *прогрессивных*. Наперекор теченью.

Равновесие укрепилось, и ровней потекли мысли, — и три дня назад Зина нашла в себе ровность и силы — написать Фёдору о смерти сына. И может быть можно было так начать выздоравливать.

Но до дважды девятого дня — до сегодня — не пришлось ей ровно дожить. Грохнул вчера, как плитой на голову, разминувшимся письмом (не писал бы, если б не разминулось!): знаешь, у меня другая есть, и это серьёзно.

Другая, или третья, или двадцатая! — но тогда приезжал зачем? Не признался — почему? Блаженный и пустой спектакль этой встречи — зачем? Вот жжёт, вот гибель: ради кого, ради чего, зачем погубила мальчика?

Кого хотела спасать? кого хотела очищать?

Поверила! На одной ноге прыгала!..

Но — кто же ты?..

Она сидела.

Зажигала лампу.

И твёрдо вставила стекло.

Ещё мрачней на неё глянул беспорядочный пустынный родной дом. Тёмными распахами в другие тёмные комнаты.

Здесь она перед ним ходила...

Вырваться! Из постели, пока рёбра не додавлены. Из комнат, из дома — куда-нибудь. Только — не одной!

Одной — удавиться только! Жить нельзя больше! Жить нельзя! Особенно здесь. Уйти из этого склепа, черноты, тишины, где мама умирала, где страсть теребили — а *там* умирал малыш.

Зачем же тогда ты звал меня?! Я бы к тебе не бросилась—и он бы не заболел!!

Уже одетая.

К кому-нибудь! Куда-нибудь! На грудь броситься — не могу одной!

Самое прямое — к тёте. В монастырь ворота уже отперты, монашки встают до света.

Но к тёте — почему-то нельзя. Так просто, так спасительно было бежать к ней после смерти сына. А *сейчас* — нельзя.

Как это нагораживается? Двадцать два года, у других — только начало жизни. А у тебя нагорожено, загорожено,— жить негде, хоть удавись!

Хоть удавись. Вот на этом жёлтом шарфе. Крепкий длинный шарф.

Так чисто начать, знать себя прямой, даже благородной, — и за один год наломать, накрушить, запутаться. Ту семью — взорвала! Маму — предала! Женьку — предала!

Только *его* не предала.

Так предал он.

Уже не так рано, где-нибудь люди. Темно, потому что ноябрь. Только отсюда вырваться.

Платком покрылась. Остаться — нельзя. Одной — нельзя, это худо кончится.

Но и к тёте-монашке почему-то никак нельзя.

Руки дрожат — ключ уронила. Теперь — ключа не найти. Если в щель порога... Вовсе бы бросила, ушла, — нельзя, сестре жить.

Заплакала. Всё держалась, а вот заплакала: ну где он, железа кусочек?..

По всей Араповской—ни души. Если где засветились, то — ещё за ставнями. Медленно встают. Медленно живут. Молятся по часу.

Фонари — на углу Большой. И фонарь на углу Долевой, близко, но сюда не достаёт.

Вернулась за спичками. С тётей — что ж? Она давно, давно в монастыре. Святой — быть легко. Но грешную понять невозможно. Женщине не испытавшей — понять испытавшую невозможно.

Чиркала, чиркала, ветер задувал. Нашла наконец, вот куда завалился.

Заперла. Положила в укрыв. И пошла.

Если бы к тёте — то по Большой, до Вознесенского за Студенец. Не выбирала, пошла к Долевой.

Сыро. Темно. По Долевой и ветрено. Через лёгкий платок голову продувает. И хорошо.

Никого навстречу, так и шла одна. Никого у калиток. Кажется, с первым бы заговорила! — никого. Тёплыми вечерами весь Тамбов — на скамеечках, у калиток. Сейчас — никого.

И — к кому ж она? Всё закрыто. И все по домам.

Когда-то считала: чем хуже — тем интереснее жить, а как дела исправятся — всё укладывается в слишком покойные рамки, скучища.

Не-е-ет, это пока не провалишься. А из проруби — руку подайте! руку подайте! вытащите меня к вам!

Шесть лет она Фёдора любила, а Женьку — шесть месяцев. Но весь мир была ему — она одна, он-то ничего в мире больше не знал.

И — преполна была. И зачем опять эти письма? К своей полноте — зачем ещё звала его? Столько лет удерживалась — не стать навязчивой, нежные слова заставляла иронией, переписывала, если получалось нежно. А тут — на одной ноге заскакала.

Как будто если та «другая» будет с ним — он станет счастлив? Да нисколько. Ему и не нужно ни любви, ни счастья, ни близкого человека. Он беден душой и, наверно, неисправим.

Никогда не переступит по земле собственными ножками. Никогда не вымолвит даже «мама». Ничего не успел.

Со вчерашним письмом как же явиться к тёте, как голову поднять, — потаскуха? Уже довольно было ребёнка от женатого.

А уже она переходила Дворянскую. Тут ещё сильней дул холодный ветер, огибая круглый лоб Благородного собрания. Два порожних извозчика один за другим, наклоняясь против ветра, гнали с вокзала.

Зинаида, в ветру, остановилась на площади.

Перед ней была Уткинская церковь.

Бледно светились вытянутые окна. И редкие фигурки шли туда с разных сторон.

У неё мысли не было такой, что — сюда. Привели ноги сами.

А — куда ей? Не возвращаться же. Только — не одной к себе.

Окна не яркие, залитые как на празднике, — но слабого света. Для больной души.

После гимназических обязательных служб она заходила в церковь, разве куличи посвятить. Хотя из протеста против всеобщей моды иногда даже и хотелось. Да в Москве в лютеранском храме слушала органную мессу, и то — как концерт.

И на той мессе тоже думала — о нём. При своей ничтожности перед мирозданной музыкой вспомнила его, и так стало жаль его: ведь он только думает, что куда-то бьётся, продвигается, что-то совершит, а за сорок лет ничего и не сделал, и не пристроен, и неудачник. И так потянуло — спасать его, очищать от наносного.

Сама-то?..

В притворе миновав нищих двух-трёх, — а вышла-то без кошелька, — Зина вступила в храм. Горело много лампад — у всех икон, немного свечей, а электрическая лампа — только одна у певчих на клиросе, и больше ничего, ни люстры. Оттого и был такой сдержанный, умеренный бледный свет.

Лампады — любила Зина. И дома, у мамы, бывало, лампадка. В светёлке, в спальне, от женщины к иконе — лампада. Интимно, лицо к лицу. Свет мал, а знает много. Бездна в этом — один на один, и что там сказано, о чём там прошено?

Служба начиналась в правом, Богородичном, приделе, где стояла небольшая, но известная по городу икона Тамбовской Божьей Матери. Туда стянулись и почти все прихожане. Священника не было там перед вратами, только со стороны псаломщик неразборчивой унылой скороговоркой читал тягуче-бесконечно, и священник из правого алтаря изредка коротко откликался ему.

Зина тихо, не слыша своих шагов, прошла свободной просторной средней частью, не различая почти ничего. Стала близ опорного столпа. Закинула голову.

Она взглядом повела по арке столпа, как та плавно уходит вверх, а та уходила и растворялась в купольном своде. Сам же свод был над средним простором храма — как малое круглое небо, малое, однако высше-сосредоточенное. Сколько доносилось, доливалось туда рассеянного лампадно-свечного света, — всю полукруглость малого неба занимало распростёртое плечное изображение — Бога-отца в облаках. Бу-

дет утро — и свет придёт туда, в подкровельные прорезные окна, туда попадёт и первое утреннее солнце, и туда достигнет последнее вечернее. А сейчас там была полутьма, но весь собранный снизу свет давал полуузнать, полуувидеть — лицо самого Саваофа, грандиозное по смыслу. В нём не было неги утешения, но — и выше кары, выше всякой грозности была напряжённость Миродержателя-Творца. Он сам был — небо надо всем, и все мы держались — Им, и похитительною дерзостью был замысел живописца выявить Его лицо в понятии и чертах человеческих. Это не могло удаться. Но через то, что было написано, низвисало над нами — великое, невообразимое выражение Силы, содержащей Мир. И кто застигнут был этими заоблачными Очами и удостоен был зреть мгновенье одно этот Лоб — сотрясённо понимал не ничтожность свою, но удостоенное же, замышленное место в гармонии. И призванье своё — эту гармонию не разбить.

Так, сильно закинув голову, глазами в эту огромность, Зинаида стала — и стояла, и стояла, не слыша ничего в храме, и нисколько не молясь, и даже не думая ни о чём. То, что парило над нею, — не передавалось словом, и было выше мысли,— это была волна животворящей воли, с доплеском и в нашу грудь. Натягивало струны горла, затекала, заливалась горячим шея, ноги теряли опору и покачивались — но не мочь была оторваться. Продрогаемая увиденным, как поставленная на мучение, стояла, пока терпела шея, в неприращённости к полу, покачиваемая, не молясь, не прося, не спрашивая, — вбирала.

А от вливаемой воли — стало легче и крепче. Не стало этого жжения, как дома, — вырваться, куда-то бежать, кого-то видеть, говорить. Стояла — и никуда не несло её бежать. Стояла с затекающей шеей, а чугунная скованность стольких дней — изникала, отпускала.

Покруживалась голова. Зинаида, не без труда, руками вернула голову, поставила, как надо. И прошла немного дальше по каменным плитам.

Там, в правом приделе, вышел священник, молча поклонился перед закрытыми вратами, — но не отец Алоний.

Опять одна, без соседей, оказалась Зинаида у большой иконы Христа, перед иконой светилась крупная розовая лампада. В поле зрения и ничего больше не стало, только эта икона, заступившая весь храм, и лампада. Там, сбоку, шла служба, но Зинаида не воспринимала из неё ни слова, не слышала. Она стояла и смотрела на коричневый лик Спасителя.

А это было — вполне человеческое лицо, хотя другого цвета кожи, другой земли. Были странности — спускались двумя косичками волосы, и нос был так длинён и тонок, как не бывает, и застыли поднятые персты для благословения. И была многознающая, загадка глаз. Знающая всё, отвеку и довеку, что нам и не снится. В лёгком состоянии души можно было этой глубины не заметить. Но сейчас отзывалось всё. Что было выразительно ясно: Христу — остро больно, но он не жалуется. Всё сожаленье Его — к тем, кто подойдёт, вот к ней сейчас. Его глаза вбирают сколько угодно ещё боли — всю её, и многократно до неё, и сколько ещё грядёт. Он — сжился с болью как с неизбежностью. И знал разрешенье всех болей.

И ей стало легче.

Розовое стекло большой лампады и свет от неё были тоже особенными. Это была розовость, но что за розовость: ничего от зари, ничего от румянца, ничего от близкого тока живой крови, — розовый цвет с лиловой нездешностью, отрешённый ото всех земных цветов. И в этом свете особенно был проницателен тёмно-коричневый, всезнающий лик.

И в этом бесплотно-розовом свете особенно показалось невозможным, чтоб сын её был—нигде. Сейчас просто увиделось, что *где-то что-то есть.*

Икона, лампада — поплыли.

Как хорошо она подошла, не выбирая, наугад, она никуда и не

хотела больше. И разговаривать с кем-то взахлёб, как она рвалась, — ей совсем не нужно стало. Теперь сбоку слышался и речитатив:

«Ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне... Кричу от терзания сердца моего: Господи! пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.»

И — задрожала: тут всё знали ещё до её прихода! — возглашали открыто.

Она не пыталась молиться: такого навыка не было у неё. Но в груди, в голове сняло какую-то помеху, запрет — и стало опять думаться. Думаться — не толчками и вздрогами, от которых болит и палит, а — созерцательно над собой, как чужой.

Она думала, что если применить церковное понятие греха, то у неё грех — тройной.

Нет, четверной.

Нет, даже пятерной. (Без сопротивления насчитывалось, как на чужую.)

Она соблазнила женатого. Она не поверхностно повредила, но своим настояньем *открыть* — во всю глубь рванула трещиной ту семью. Она покинула умирающую мать. Она покинула сына — ради возлюбленного. Она... Четыре. А где же пятый? Вился ещё тут где-то и пятый.

«Ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней.»

Больше стали видеть и её глаза — и теперь наискосок впереди, на крыле среднего амвона, в уголке она увидела — и обрадовалась — стоящего к ней боком отца Алония: он исповедовал. Пока в правом приделе шла утреня, а он тут исповедовал, будто совсем беззвучно: у аналоя приклоненною головой выслушивал склоненную голову, потом накрывал её епитрахилью, крестил и отпускал. Исповедальников ждало несколько, и они проходили не быстро.

Впрочем, это так замечалось, ни к чему. Зинаида не нуждалась в исповеди, она и без неё себя читала ясно.

Если разбирать изнутри её жизни: она не лукавила, не измысливала никого обмануть и никому повредить. Она хотела только пройти свой естественный женский путь — имеет право она на него, как всякая?.. Она и не прошла его, она всего только начинала, начала, — но, Боже мой, как трудно оказывается и начать! Из юности выходишь такой свободной, лёгкой — и почему же сразу так трудно, путанно, почему все люди, судьбы — поперёк, и шагу не сделать, чтоб на ком-то не отозвалось, чтоб не толкнуть, чтоб — не через кого-то. Как же выбраться? Как же бы — опять с начала?

Да не хотела она никому вреда! Но почему каждый шаг жизни — по другим?

Нет, не каждый, напраслина. Перед одним — она ни в чём не была виновата, вот уж! *Ему*—она хотела лучшего, чем знал он сам. Она хотела открыть ему дар, которого он не знал, и так бы жизнь прожил. Читая его самодовольные откровенности, затая дыхание, всё вернее видела: одна она ему нужна! одна она откроет ему жизнь и довершит до полноты, а у него — ни полноты, ни разноты, а только расхожее низкое. А вот он — виноват: что попустительствовал, что отдавал, кто бы только взял её первый. Он — на всё и толкнул, и ещё теперь вчерашнее — поди прочь с твоей привязанностью, с твоими жертвами! — но и в отталкивании ложь, потому что если любит другую (да любил бы! да значит снизошла к нему милость! да не доравнялся он любить!) — то зачем же заворачивал в Тамбов?

Ах, вот он, четвёртый, или пятый,— как с корнем дёрнули из неё изо всей! Как пожаром охватывает платье — и скинуть нельзя, и не скинуть нельзя, — пятый, вот он, прилип, прилился! Потому не пошла и к тётке: знала, как та ответит, но ответ ей нужен был *не такой*! Она искала получить ответ — задуманный.

И тут увидела, как отец Алоний, отпустив последнюю, обернулся сюда. Он обернулся — нет ли кого ещё, скользнул по пустой середине храма — и увидел её, и узнал, — и кивал пригласительно, так поняв, что она — к нему.

Но она не к нему!

Стоял и ждал — широколицый, прямой, такой основательный и простой, густоволнистые назад его волоса оставляли открытым крупный лоб, и под ним сияли глаза.

Поманил — и ждал.

Но она не к нему!

А он ждал и звал. Он так и понял, что она ещё борется со свежей смертью.

А, уж если пришла! Стоит — и ждёт. А — к кому ж она? А куда же?

Шаг, шаг, шаг! — пошла, незадуманно, незагаданно.

А там — ступеньки, не споткнуться, поднимаясь на клирос. И только видела — крупное, крупнолобое лицо с поощряющим взглядом, понизу обложенное тёмно-русой бородой.

И больше не успев заметить, разглядеть — уткнулась в аналой. Лбом к евангелию в тиснёном переплёте, и справа серебряное распятие.

Евангелие и распятие — стерегли её исповедь. А аналой — сейчас поняла: крутой подъём! крутой тяжёлый изволок — и этим изволоком надо выволакивать, выволакивать свою жизнь против тяжести и против трения.

В гимназии исповедь — прыснуть, смешок. Уже с размаху — епитрахиль на голову, отпускать. Снисходительные вопросы, предполагающие ребёнка, чуть ли не конфету из буфета, — «грешна, батюшка, грешна», и отпорхнула. А с тех пор — ни разу. И сейчас — ждала вопроса, и не дождалась.

Ждал — священник, невидимо нависая над нею. И лишённая поднять голову, посмотреть ему в глаза и говорить с ним как с человеком просто, как после панихиды, — она должна была отвечать существу высшему.

И хорошо, что не в глаза.

Да она и не видела его. Ни вообще человека ни одного. А — распятие только, из-под прижатого лба.

Никто не спрашивал её — и не на что было отвечать. Но — самой продираться через тьму.

Не хотела слушать ни тётку, ни её монашек, все слишком святые и не поймут, — а теперь говорить?

Говорить — но жгущего не сказать! Мыслями быстрыми провильнув, всё охватить (а что — пропустить). Для себя ты всё уже знаешь, что наделала, перебрано уже сто двадцать раз. А теперь единственный раз — но вырвать из своей спасительной попустительной немоты и вывести вслух наружу? Невозможно! (Всё — уже можно, но — кроме одного!)

Безвыходно. Но и безвыходно было одной в пустом доме. Безвыходно будет и куда ещё придёшь. На этот изволок близ распятия — как себя вытянуть? Человеку другому, чужому, — всё, что было, — н а з в а т ь? И не смягчая словами, не хитря? (Сделать — легче, чем назвать!) Где же горло взять, где дыхание? Просто вот так, без объяснения, без вступления, горлом сухо надтреснутым:

— Я — соблазнила женатого.

Уф, первый порог. Никакого порога: это всё уже прошлое. А — зачем?..

— Я... соблазнила его... собственно не любя... Любя — другого, а тут... Ну, просто... Ну, возраст пришёл... Ну, чувствам исход.

Хотя б вопрос над головою! Или — суждение, осуждение! Или звук сочувствия? Нет. Да слышат ли тебя?

— Я—заставила его открыться жене. И этим... думаю... разломала их жизнь... навсегда...

Второй порог. Свинцовая жизнь, как тебя вытягивать? Но с каждым назывом как будто и спадает что-то. Но ещё не всё, доказнить себя:

— Это — без цели, так, ни к чему... Я очень раскаиваюсь.

Неправда, цель была. Но не так же ясно, точно! Была... Наперёд знала, что расстанемся... Нет, не знала...

— С низкой целью. Оторвать его для себя... Нет, для самолюбия... Потому что другой не любил...

Как легко вдруг сказалось.

— А я — того — всю жизнь любила.

На любовь — как крыльями! А сама, по изволоку, на каждом грехе как через камень перекатываясь, — и носом вниз, и носом в землю:

— Потом я... скрывала беременность от матери. Придумала уехать в деревню. А мать — заболела, умирала... Я не приехала. Предала её... ради ребёнка...

Неправда, вильнула.

— Нет, из-за позора. От самолюбия.

Нет, это — как колодезной бы кошкой, три крюка в три стороны,— и надо там, на тёмном дне души, найти горячий камень, нащупать, подцепить, а он не цепляется, а он срывается, он семьдесят раз срывается, пока ты его бережно, как лучшее своё сокровище, движениями точными, ни дрогом не ошибясь — поднимешь, поднимешь, дотянешь, дотянешь — хвать! — и, пальцы обжигая, выкинула из души!

— Я — младенца покинула... для свидания... Как безумная... И он заболел без меня... и вот отчего умер.

Так и этот — вытягивала, вытягивала, вывалила наружу, не дыша. Труд — испотивающий, пот холодный на лбу.

Что теперь священник думает?.. Так жалел сокрушённую молодую мать...

Но заметила: каждый вываленный камень как будто уже и отделяется от неё — навсегда ли? нет ли? — и можно теперь хоть со стороны на него посмотреть, не в себе одной волоча.

Взглянуть на священника — она не подняла головы, она не смела, и никто так не делал до неё. Но не слыша от него ни звука, но вдруг с какого-то камня догадалась о незримом нависающем священнике: он — и не исповедует. Она — н е е м у исповедовалась! Он — только нужный свидетель.

Потому и трудно так, что: всё — сама. Потому и облегчение, что: всё — сама.

Облегчение — надолго ли? Разве сказанное слово перевесит вину, грех, зло?

Удивительно, непонятно, но: как выговоришь — так отваливается. Хоть — и пока.

А *простить*—кто ж это может всё простить такое? Кто другой человек может тебе отпустить? Сама и таскай, сама и трудись.

И в этом — движение. В живой груди всё сваленное — не может намертво остаться навсегда. Если бы всё так оставалось — мы бы тоже камни были.

Да что ж нависает он, молчит? Хотя бы помог вопросом, звуком, поощрением!

Но когда уже научаешься эти камни вытягивать крюком срывчатым — в сухом горле свободнеет речь и рассказ исповедный ускоряется. И сумятно спешишь выхватывать и называть свои предательства (свои! вот только что винила *его*, но это ложно!) — называть уже и по второму разу (а все оказались напрасны! все впустую! все не приняты!) — второй раз по этому месту — или это новое место — или это не второй раз? — да, второй раз предала! — уже не жизнь твою, а память свежую, неостывшую — ещё могилка не уряжена, будет ждать убора

до весны — а мысли мои о ком опять? — опять о нём, опять о нём! — вот почему побежала, между вспышками, безумея, уклоняясь, где б не обжечься, а то и прыгая через огонь, не зная прямой, которой и нет, и по той же калёной земле, жгут подошвы, возвращаясь на то же место, — мне пальцы сбивал, отстань, оторвись, — шесть лет о нём и опять о нём, — спалила сына и, траура не доносив, — вот он, пятый, наносится как смерч, — вот когда камня не вытянуть, пылает!! Сама обуглена, а вьётся неупускаемо, огненной змейкой: ещё зародить! от *него*—зародить! он этой радости не знал—*вместе!*

И что б сейчас священник ей ни возразил, ни запретил, простил-не простил, — она с ужасом видела, что обречена к *нему*.

Но — ещё снова от кого-то отталкивать? отбирать, отнимать? Нет шагов по земле — не по людям? По траве, по земле — нет шагов, не бывает?

И — как зыбка земная кора! Везде, под каждым шагом плавится! Нигде не пробежать, не провалясь!

А пока меж огнями металась — обронила крюк, ушатнулась от колодца — да не грохнулись камни все туда опять?! О, Боже, помоги! Ты видишь, я выбраться хочу! Я хочу перемениться! Но слишком много бед...

И куда докарабкалась на изволоке, там и сникла, виском о распятие, исчерпав свои малые силы, одночеловеческие.

Молчала.

И на голову ей легла тканая тяжесть, затемнив последнее, что ещё видела. И через ткань слышные касанья крестящей руки.

И голос — необыденный, способный вскинуться за тысячу грудей под купол, молить, страдать, каяться, — а сейчас негромкий, для неё одной, но и со всем тем подкупольным значением:

— Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатию и щедротами своего человеколюбия...

Она — всё своё выкрикнула, как ни ужасно, она всё своё сделала, она была и прижата, виском к распятию, и бездыханна. Но — другое Дыхание, но Дух — плавал над ней и трепетанием проникал в неё.

— ...да простит ти, чадо, вся согрешения твоя. И аз, недостойный иерей, властию Его, мне данною...

Он — не власть подчёркивал, но недостойность. Над её сокрушённым трудом он сокрушённо свидетельствовал о прощении.

— ...прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих...

Он так веско, глубоко выговаривал, будто знал и взвесил ещё много подробностей, ею не сказанных, и, всё оценив, — уверенно прощал однако.

Но сама Зинаида не так поняла, что всё прощено, забыто и кончено. А — что труд её был не напрасен.

Что сдвинуто с места — то не остаётся вовсе на прежнем.

Однако — был же и вопрос у неё. Или она, в прыжках от ожогов, не выразила?

Он снял епитрахиль — и она поспешно подняла освобождённую голову, взглянула на отца Алония.

Увидела взгляд его прямой, лицо прямое, лобастое, твёрдое, безлукавое, — он понял вопрос её, понял, не скрывал.

Но — разведенными твёрдыми пальцами снова наклонил её голову, не тяжко, но властно.

Не сразу поняла: к евангелию.

Поцеловала древне-бордовый переплёт с полустёртым рельефом рисунка.

Не покидая водительствовать пальцами — передвинул её голову к распятию.

Прильнула к его серебру.

И снова вскинула голову со своим неостывшим вопросом.

С непроливаемой влагой смотрели глаза отца Алония.

Он — сказал своё обязательное, он — не должен был говорить больше. Но она ждала, вскинутая, ещё отдельное что-то для себя.

Шевельнулись крупные губы его из темно-русой поросли:

— В каждого из нас заложено таинство большее, чем мы предполагаем. И в общении с Богом доступно нам его разглядеть. Научись молиться. Истинно, ты сможешь.

Но ещё пока она не умела! И это не был для неё ответ.

Со скорбным сочувствием смотрели его серые глаза. И он не уклонился продолжить:

— Нет в мире болей больнее семейных, струпья от них — на самом сердце. Пока мы живы — наш удел земной. Редко можно за другого определить: «вот так — делай, вот так — не делай». Как велеть тебе «не люби», если сказал Христос: ничего нет выше любви. И не исключил любви — никакой.

1971 — 1973 — Подмосковье
1975 — Нагорье Цюриха
1979 — 1981 — Вермонт

ПЕТР ПАЛАМАРЧУК

Читать Александра Солженицына!

I
ПРЕДСКАЗАНИЕ О ПЕРЕСТРОЙКЕ

Мне довелось недавно составить такую работу — своего рода путеводитель по Солженицыну. Исходит он из признания автора в «Теленке»: «Хотя знакомство с русской историей могло бы давно отбить охоту искать какую-то руку справедливости, какой-то высший вселенский смысл в цепи русских бед, — я в своей жизни эту направляющую руку, этот очень светлый, не от меня зависящий, смысл привык с тюремных лет ощущать... Многое в жизни я делал противоположно моей же главной поставленной цели, не понимая истинного пути, — и всегда меня поправляло Нечто» (Т, с. 126).

В итоге же обозрение духовного пути писателя приводит к выводу о том, что названное вначале «Нечто» ясно обретает лицо и имя, становясь не только «Что», но и «Кто», а «путеводитель» со строчной буквы превращается в Путеводителя с прописной — ибо это не кто иной, как тот Сын Человеческий, который сказал следующим за ним: «Я есмь путь, истина и жизнь» (Ин. 14 : 6).

Сегодня изо всех чудесных неслучайных «случайностей» солженицынского творчества представляется уместным коротко сказать о последней в ряду. С 1983 года он почти прекращает прилюдные выступления и как будто бы целиком уходит прочь от современности к повествованию о начале века «Красное Колесо». И вот в 1988 году выходит окончание его третьего Узла, посвященного Февральской революции — как раз тогда, когда эти, казалось бы, давно минувшие дела становится нам на Родине насущно необходимо вспомнить.

Приведу лишь несколько основных положений из разных книг Александра Исаевича, изданных до 1985 года, но как бы нарочно ложащихся в строку о нынешней действительности.

«Скоро, скоро наступит в России эра гласности!» — восклицает автор на последних страницах «Архипелага ГУЛАГ» (т. VII, с. 500), несколько ранее задавая еще вопрос: «Что же будет в нашей стране, когда Правда обрушится водопадами? А — обрушится, ведь не миновать» (V, 291).

Задолго до принятия на казенную службу, а потому и несуетно заговорил писатель также о другом слове, ставшем девизом нынешнего правления: «Весь «бесконечный прогресс» оказался безумным напряженным, нерассчитанным рывком человечества в тупик... И не «конвергенция» ждёт нас с западным миром, но — полное обновление и перестройка и Запада, и Востока» (IX, 144). Это уже из «Письма вождям Советского Союза» 1973-го года, о котором автор в 1979-м году дополнительно пояснил: «Главное в «Письме вождям» не названо, а подразумевается... я обращался, собственно, не к этим вождям. Я пытался прометить путь, который бы мог быть принят другими вождями, вместо этих. Которые внезапно бы пришли вместо них» (X, 370).

Вот что писал Солженицын будущим вождям страны: «Напомню, что Советы, давшие название нашему строю... никак не зависели от Идеологии... Но обязательно предполагали широчайший с о в е т всех, кто трудится» (IX, 164). О

том же говорил он и Твардовскому: «Термин «советская власть» стал неточно употребляться. Он означает: власть депутатов трудящихся, только их одних, свободно ими избранную и свободно ими контролируемую. Я — руками и ногами за такую власть!» (Т, 174).

И далее, вновь ко грядущим руководителям: «Не должны мы руководиться соображениями политического гигантизма, не должны замышлять о судьбах других полушарий, от этого надо отказаться навек; это наверняка всё лопнет, другие полушария и тёплые океаны будут развиваться всё равно без нас... Руководить нашей страной должны соображения внутреннего, нравственного, здорового развития народа, освобождения женщины от каторги заработков, особенно от лома и лопаты, исправления школы, детского воспитания, спасения почвы, вод, всей русской природы, восстановления здоровых городов, освоения Северо-Востока — ...и никаких всемирно-исторических завоеваний и придуманных интернациональных задач... Чтобы не задохнулись страна и народ, чтобы они имели возможность развиваться и обогащать вас же идеями, свободно допустите к честному соревнованию — не за власть, за истину! — все идеологические и все нравственные течения, в частности все религии... ведь это всё будет давать богатый урожай, плодоносить — в пользу России» (IX, 164—166).

В первую голову заботит писателя судьба переходной поры: «Если Россия веками привычно жила в авторитарных системах, а в демократической за 8 месяцев 1917 года потерпела такое крушение, то может быть — я не утверждаю это, лишь спрашиваю — может быть следует признать, что эволюционное развитие нашей страны от одной авторитарной формы к другой будет для нее естественней, плавнее, безболезненней? Возразят: эти пути совсем не видны, и новые формы тем более. Но и реальных путей перехода от нашей сегодняшней формы к демократической республике западного типа тоже нам никто еще не указал. А по меньшей затрате необходимой народной энергии первый переход представляется более вероятным» (IX, 42).

Размышляя об уроках свободы, он спрашивает: «Какая опасность страшней: внешний ли гнёт по захвату или внутренний распад по несогласию? О себе скажу: под первым я никогда не терял бодрости, второй привёл меня... в уныние» (IX, 186). И поэтому предлагает, что если уж менять однопартийную систему, но не в сторону безудержного разрастания рассекающей общество партийности — ведь слово «партия» ведет происхождение от латинского «делю, разделяю», — а в направлении строго обратном, для упразднения всякого раскола в народе.

Нужно с горечью признать, что названные Солженицыным загодя главные опасности времени перехода уже во многом сбываются. Вот как предупреждал он, например, в связи с выходом в 1974 году сборника «Из-под глыб»: «Нашу страну уже нельзя поджечь классовой ненавистью — столько пролито крови, и так уже обанкротилась теория классовой борьбы... — но национальной ненавистью... поджечь очень легко, она почти наготове к этому самовоспламенению; и поэтому наши заботы должны быть направлены к тому, как острейшую эту национальную проблему — особенно острую в СССР, не допустить до взрыва, не допустить до пожара, избежать междунациональных столкновений» (X, 98).

О другой опасности он не устает повторять в споре с теми, кого называет «плюралистами» — то есть сторонниками множественности идей ради самого множества, а не с целью поиска истины, упрекая их: «Ни одного реального предложения, кроме «всеобщих прав человека». А — переходный период? Любую из западных систем — как именно перенять? через какую процедуру? — так, чтоб страна не перевернулась, не утонула? А если начнутся (как с марта 1917, а теперь-то еще скорей начнутся) разбои и убийства — то надо ли будет разбойников останавливать? (или — оберегать права бандитов?..) и — кто это будет делать? с чьей санкции и какими силами? А шире того — будут вспыхивать стихийные волнения, массовые столкновения? как и кто успокоит их и спасёт людей от резни?.. Вдруг отвались завтра партийная бюрократия — эти... силы тоже выйдут на поверхность, — и не о народных нуждах, не о земле, не о вымираньи мы услышим их тысячекратный рёв, не об ответственности и обязанностях каждого, а о правах, правах... — и разгрохают наши останки в ещё одном Феврале, в ещё одном развале...»

Вновь и вновь указывает он на ни с чем не сравнимый урок недавней истории: «Тем опаснее станет для нас Февраль в будущем, если его не вспомнить в прошлом. И тем легче будет забросать Россию в ее новый роковой час — пустословием. Вам — не надо вспоминать? А нам — надо! — ибо мы не хотим повторения в России этого бушующего кабака, за 8 месяцев развалившего страну. Мы предпочитаем ответственность перед её судьбой, человеческому существованию — не расхлябанную тряску, а устойчивость» («Вестник РХД», № 139, 1983, с. 133—154). «...Повторение Февраля было бы уже непоправимой катастрофой. И важно, чтоб это поняли все, прежде чем у нас начнутся какие-нибудь государственные изменения. Так вот и получилось, что моя историческая работа о Феврале... настолько опоздала, что уже снова стала актуальной» (X, 355—358).

И наконец единственное высказывание из нынешней поры — завершающие слова статьи в последнем номере «Вестника РХД», посвященной сравнению двух грозных революций — Французской и Российской: «Приоткрывает нам большая революция и такие глубины бытия, которые сомнительно назвать просто физическими. И которые доныне услеживаются лишь немногими» («ВРХД», № 153, 1988, с. 170).

II

ТРИ ТОВАРИЩА

Еще несколько слов о событиях текущего дня. Совсем недавно широко распространился слух, что несколькими деятелями — называли даже число: 19 — направлено было «наверх» письмо против печатания Солженицына на Родине, ставшее причиной нового на него запрета. Кто это может быть и зачем оно понадобилось?

Пока сия бумага не обнародована, к сожалению, можно лишь строить догадки. Вот, например, в «Огоньке» М. Шатров неверно называет книгу «Ленин в Цюрихе» повестью; и тут же оговаривается, что бороться с идеями Солженицына нужно пером. А вскоре чиновник со Старой площади повторяет в точности ту же ошибку (именует эту «сплотку глав», полностью вошедших в вышедшие уже тома «Красного Колеса» и потому на отдельное издание никак уже более не рассчитанных, опять-таки «повестью»), добавляя, что и все его произведения вообще издавать не следует. Значит, кто-то действительно решил побороть Солженицына «пером» — примерно так, как воевал против «Памяти» показанный на всю страну провокатор Норинский, то есть посредством подметных писем.

Или такой любопытный предмет для размышлений: в издаваемой херсонским комсомолом газете «Ленинский прапор» появилась беседа с главой «Огонька» В. Коротичем, где он величает Александра Исаевича «колоссальным русским шовинистом», коего-де пока еще не «чепляют», но уже скоро будут.

Однако вплоть до открытого выяснения все-таки называть прямо имен не будем, потому что куда полезней взглянуть на общее выражение лиц этих «товарищей»: оно-то как раз рисуется вполне отчетливо.

Ибо само слово «товарищ» обозначало прежде заместителя — министра, директора департамента или какого-то иного начальника. Затем оно пришло на замену «господину», ведшему род от самого Господа Бога. И со временем замещение стало играть все большую роль. Скажем, надпись «гастроном» заменяет подлинное имя лавки, где не только что любителю гастрономии, а и простому покупателю часто нечего взять съестного; а «бар» с недавних пор подменяет заведение, где нечего выпить, — и тому подобное. Есть «заместители» и у Солженицына — и вот они-то и не могут не испытывать к нему живейшего рода зависти. Пример прошлого поколения на слуху — Борис Дьяков, со старательностью подстроивший свою повесть из жизни лагерных «придурков» под «Ивана Денисовича», а затем бурно приветствовавший «от лица всех невинно-пострадавших» изгнание Нобелевского лауреата из страны. В печати появились наконец сведения о том, что он сам добровольно вступил в сексоты и погубил не одну жизнь.

Естественно, что и последующим поколениям «заместителей» возможность появления в нашей печати Солженицына — просто кость поперек горла. Следует еще в этой связи припомнить — расширяя понятие «замещения» до онтологической глубины, что и слово «антихрист» точнее переводится не как «противник Христа», а как «вместо-Христос», занимающий не по достоинству его место, или опять-таки «зам».

Напоследок обратим внимание еще на одного сочинителя, имя которого назовем после названий изданных им трудов. Начинал он как раз в пору появления «Одного дня» с написанной в соавторстве брошюры «Семилетка и снижение себестоимости промышленной продукции». Но более всего развернулся в 1980-е — как раз когда Солженицын начал том за томом выпускать в свет восемь книг «Красного Колеса». В ответ наш автор выпускает несколько изводов главного своего сочинения по имени «Развитой социализм: вопросы формирования общественного сознания» — сперва по-русски, а в 1981-м даже по-испански и по-французски, но только здесь же в Москве, в «Прогрессе». За ним появились еще сборники «26 съезд и дальнейшее развитие марксистско-ленинской теории», «26 съезд и актуальные проблемы теории и практики коммунистического строительства» и т. д.

И вот два месяца назад он становится наконец заместителем первого в государстве лица по духовной части, своего рода архипрорабом духа. А вскоре объявляет удивленному миру — впрочем, внешнему, ну и еще прибалтийскому, для всего прочего «простого» населения это не было распечатано, что Солженицына издавать на Родине никак не следует. Фамилия этого автора — Медведев, — однако это не брат Рой, и не брат Жорес. Как говорится, «не родственник и даже не однофамилец» по имени Вадим Андреевич.

Так возникает своеобразно даже художественно - выразительная цепь из трех «замов», сидя на одной и той же должности, последовательно руководивших запретом на печатание Солженицына.

Первый про-раб духа состоял при Хрущеве и звался Фрол Козлов. Второго, так сказать, про-раба́ любви при Брежневе величали Михаил Суслов. И вот теперь новый преемник, прораб развитого застоя...

Итого «три товарища»: Козлов, Суслов и Медведев.

Но не будем переходить на личности, а лучше подойдем сразу к сути и спросим: до каких же пор будет продолжаться это про-рабство; доколе про-рабья стая будет решать за нас — читать нам великого русского писателя или не читать?! Настало время с этим безобразием покончить, и покончить не в светлом туманном будущем, а сегодня, — нынче, и присно, и во веки веков. Аминь.

Отечественный архив

НИКОЛАЙ РУБЦОВ



ОТ РЕДАКЦИИ

Замечательный русский поэт Николай Рубцов родился 3 января 1936 года, погиб 19 января 1971 года. К знаменательным датам приурочена подборка неизвестных и малоизвестных произведений поэта с предисловием Вадима Кожинова и послесловием Вячеслава Белкова. Поскольку по техническим причинам журнал поступает к читателям с опозданием, мы помещаем эти материалы в декабрьском номере.

Первые восемь стихотворений печатаются по текстам из архива В. Кожинова. Все остальные стихи, прозаические отрывки, заметки предоставлены вологодским исследователем творчества Николая Рубцова Вячеславом Белковым.

ЧУДО НИКОЛАЯ РУБЦОВА

Николай Рубцов... Это имя с середины 1970-х годов обрело широчайшее звучание, и если вдуматься, такое утверждение современного поэта в душах миллионов людей предстанет как нечто удивительное, даже как некое чудо (критика, кстати сказать, не раз уже обращала внимание на это чудо).

*Дело в том, что в последние лет тридцать широкая известность автора стихотворных произведений могла быть достигнута только с помощью каких-то «дополнительных» средств — подчеркнуто острой, сенсационной тематикой стихов, их многократного рекламирования по телевидению и радио, исполнения их в виде песен (что способно резко усилить воздействие стиха) и т. д. Применение этих дополнительных средств часто сочеталось, и именно так завоевали свою громадную популярность Евтушенко, Рождественский, Окуджава, Высоцкий, Вознесенский, которые в 1960—1970 годах в **этом** отношении далеко «обогнали» своих несоизмеримо более значительных современников, — таких, как Ахматова, Пастернак, Заболоцкий, Твардовский, Смеляков, Тряпкин, Слуцкий, Межиров, Казанцев...*

*Одна из основных причин здесь в том, что истинная поэзия требует от того, кто ее воспринимает, духовной активности, в конце концов, **сотворчества**, а сочинявшееся и затем исполнявшееся Евтушенко и другими воспринималось совершенно пассивно, без какого-либо духовного труда и порыва, ибо в сущности перед нами и не **поэты** в собственном смысле слова, а представители своеобразного **эстрадного** жанра (который,*

конечно, может быть по-своему важным и нужным).

С поэзией Николая Рубцова все совершилось прямо противоположным образом: не она тем или иным способом навязала, «выдала» себя людям, но сами люди брали, присваивали ее себе. Эта поэзия стала издаваться большими тиражами и зазвучала по телевидению и радио только к концу 1970-х годов, уже после того, как она обрела широкое признание в народе. И сам поэт не принимал в этом никакого участия, ибо он давно уже спал вечным сном на кладбище под Вологдой...

Но тот, кто возьмет в руки вышедшую в 1983 году в Архангельске книгу «Воспоминания о Рубцове», узнает: в жизни поэта был краткий период, когда перед ним раскрылся соблазн «эстрадности». Его питерский друг Борис Тайгин вспоминает, как в самом начале 1962 года в зале Ленинградского Дома писателей Николай Рубцов «громко и отчетливо» читал свои юношеские стихи, которые «насквозь были пропитаны юмором, одновременно веселым и мрачным», вызывая «смех, веселое оживление... шумные аплодисменты после каждого стихотворения. «Читай еще, парень!» — кричали с мест. И... долго не давали уйти со сцены».

Но именно с этого, 1962 года, Николай Рубцов вступил на иной путь, не соблазнившись легкой славой. Осенью 1962 года он сказал (в стихотворении «Пусть поют поэты»):

...Так много шума.
А хочется речи
Простой, человечьей...

Я познакомился с ним в конце того же года, и не помню случая, чтобы он изъявил какое-либо пристрастие к «эстраде», хотя в то же время он любил прочитать или даже напеть свои стихотворения в тесном дружеском кругу. (Мой подробный рассказ об этом см. в кн. «Воспоминания о Рубцове».)

Да, ровно ничего, ни одного жеста не сделал Николай Рубцов специально для славы, но слава сама осенила его поэзию. И это рождает радость и надежду: в пору засилья «масскульта» миллионы людей смогли расслышать и принять в глубину своих душ ничем не «усиленный» голос поэта...

Ниже публикуются по сохранившимся у меня рукописям и магнитофонным записям стихотворения Николая Рубцова, которые ранее либо вообще не печатались по «цензурным» соображениям, либо печатались в урезанном виде. В большинстве своем это ранние стихи, написанные двадцатилетним или даже восемнадцатилетним юношей. Некоторые из них, наверное, пригодились бы для «эстрады». Но Николай Рубцов — поэт, в наследии которого дорого и интересно все. И я не сомневаюсь, что большинство читателей разделит это мое убеждение.*

Вадим **КОЖИНОВ.**

* Таково стихотворение «Осенняя песня», навеянное воспоминаниями о жизни в Архангельске в 1952—1954 гг. (будущий поэт работал здесь кочегаром на рыболовецком судне).

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ. ПРОЗАИЧЕСКИЕ ОТРЫВКИ. ЗАМЕТКИ

Осенняя песня

Потонула во тьме отдаленная пристань.
По канаве помчался, эх, осенний поток!
По дороге неслись сумасшедшие листья,
И всю ночь раздавался милицейский свисток.

Я в ту ночь позабыл все хорошие вести,
Все призывы и звоны из Кремлевских ворот.
Я в ту ночь полюбил все тюремные песни,
Все запретные мысли, весь гонимый народ.

Ну так что же? Пускай рассыпаются листья!
Пусть на город нагрянет затаившийся снег!
На тревожной земле, в этом городе мглистом
Я по-прежнему добрый, неплохой человек.

А последние листья вдоль по улице гулкой
Все неслись и неслись, выбиваясь из сил.
На меня надвигалась темнота закоулков,
И архангельский дождик на меня моросил...

1962

На кладбище

Неужели
одна суета
Был мятеж героических сил
И забвением рухнут лета
На сиротские звезды могил?

Сталин что-то по пьянке сказал —
И раздался винтовочный залп!
Сталин что-то с похмелья сказал —
Гимны пел митингующий зал!

Сталин умер. Его уже нет.
Что же делать — себе говорю,—
Чтоб над родиной жидкий рассвет
Стал похож на большую зарю?

Я пойду по угрюмой тропе,
Чтоб запомнить рыданье пурги
И рожденные в долгой борьбе
Сиротливые звезды могил.

Я пойду поклониться полям...
Может, лучше не думать про все,
А уйти, из берданки паля,
На охоту,
в окрестности сел...

1960

Уборщица рабочего общежития

Пришла, прошлась по туалету
Стара, болезненно-бледна.
Нигде глазам отрады нету,
Как будто здесь была война!
Опять какая-то зараза
Сходила мимо унитаза!
Окурки, пробки, грязь... О, боже,
За что казнишь меня, за что же!
В ребятах тоже
нет веселья!
Улыбки сонно ей даря,
Еще качаются с похмелья,
Отметив праздник Октября!

1959

* * *

Ползает ручей в зеленой траве,
Скучный ручей, незвонкий...
Мысли перепутались в голове
От выпитой самогонки...
Я жизнь
за силу ее
люблю,
Но нет для души раздолья.
Чувство от чувства не отделю,
Радость смешана с болью!
От детских грез
я давно отвык,
И нет утешенья в лире.
Как узнать,
из чего я возник
И для чего предназначен в мире?
И почему это ползает по траве
Вот этот ручей незвонкий?
...Все перепуталось в голове
От выпитой самогонки!

1957

* * *

Перед большой толпой народной
Я речь на площади держал!
Очнулся в камере холодной,
Со мною рядом друг лежал.
За что! Я спорил с капитаном!
Но верный друг, повесив нос,
Сказал: — Не спорь!
Пока наганом
Он речь свою не произнес!

* * *

Сакс фокс рубал, дрожал пол
От сумасшедших ног.
Чувак прохилял
в коктейль-холл
И заказал рок.

Лицом был чувак ал,
Над бровью — волос клок.
Чувиху чувак позвал,
И начал лабать рок.

Чувиха была пьяна.
И в бешенстве лабы той
Вся изошла она
Истомою половой.

Под юбкой парок дымил,
И мокла капрона нить,
На морде написан был
Девиз: «Торопитесь жить!»...

Зубами стиляг сверкал
Коктейль-холл,
Сакс фокс рубал,
Дрожал пол...

1957

Праздник в поселке

Сколько водки выпито!
Сколько стекол выбито!
Сколько средств закошено!
Сколько женщин брошено!
Чьи-то дети плакали,
Где-то финки звякали...

Эх, сивуха сивая!
Жизнь была... красивая!

Ленинградская обл.,
поселок Невская Дубровка. 1959.

Морские выходки

Я жил в гостях у брата.
Пока велись деньжата,
Все было хорошо.
Когда мне стало туго,
Не оказалось друга,
Который бы помог.

Пришел я с просьбой к брату.
Но брат свою зарплату
Еще не получил.
Не стал я ждать получку,
Уехал на толкучку
И продал брюки клеш.

Купил в буфете водку
И сразу вылил в глотку
Стакана полтора.
Потом в другом буфете
Дружка случайно встретил
И выпил с ним еще.

Сквозь шум трамвайных станций
Я укатил на танцы
И был ошеломлен:
На сумасшедшем круге
Сменяли буги-вуги
Ужасный рок-н-ролл.

Сперва в толпе столичной
Я вел себя прилично,
А после поднял шум.
В танцующей ватаге
Какому-то стиляге
Ударил между глаз.

И при фонарном свете
Очнулся я в кювете
С поломанным ребром.
На лбу болела шишка,
И я подумал: — Крышка!
Не буду больше пить!

Но время пролетело,
Поет душа и тело.
Я полон новых сил.
Хочу толкнуть за гроши
Вторые брюки-клеши,
В которых я хожу.

Ленинградская область, пос. Приютино.
1957

Да, умру я...

Да! Умру я!
И что ж такого?
Хоть сейчас из нагана в лоб!

...Может быть,
Гробовщик толковый
Смастерит мне хороший гроб.
А на что мне
Хороший гроб-то?
Зарывайте меня хоть как!..
Жалкий след мой
Будет затоптан
Башмаками других бродяг.
И останется все,
Как было,
На земле, не для всех родной.
Будет так же
Светить Светило
На заплеванный шар земной!

1954. Ташкент.

* * *

На душе
соловьиною трелью
Не звените, далекие дни!
Тихий дом,
занесенный метелью,
Не мани ты меня, не мани!

Неужели так сердце устало,
Что пора повернуть и уйти?
Мне ведь так еще мало, так мало,
Даже нету еще двадцати...

Жеребенок

Он увидал меня
и замер,
Смешной и добрый,
как божок.
Я повалил его на травку
На чистый, солнечный
лужок!
И долго, долго,
как попало,
На животе, на голове,
С восторгом, с хохотом
и ржаньем
Мы кувыркались
по траве...

* * *

Не надо, не надо, не надо,
Не надо нам скорби давно!
Пусть будут река и прохлада,
Пусть будут еда и вино.
Пусть Вологда будет родная
Стоять нерушимо, как есть,
Пусть Тотьма, тревоги не зная,
Хранит свою ласку и честь.
Болгария пусть расцветает
И любит чудесную Русь,
Пусть школьник поэтов читает
И знает стихи наизусть.

* * *

Снуют. Считают рублики.
Спешат в свои дома.
И нету дела публике,
что я схожу с ума!
Не знаю, чем он кончится,—
запутавшийся путь,
но так порою хочется
ножом...
куда-нибудь!

1957

Почему не повезло?

Почему мне так не повезло?
По волнам, давно уже усталый,
Разгонюсь — забуду про весло,
И тотчас швырнет меня на скалы!

Почему мне так не повезло?
Над моей счастливою любовью
Вдруг мелькнуло черное крыло,
И прошла любовь с глубокой
болью.

Почему мне так не повезло?
Все, трудясь, живут себе
в надежде,
Мне ж мое глухое ремесло
Не приносит радости, как прежде.

Почему мне так не повезло?
По ночам душе бывает страшно.
Оттого, что сам себе назло
Много лет провел я бесшабашно.

Почему мне так не повезло?
Все же я, своей не веря драме,
Вновь стремлюсь, хватаясь за весло,
В океан, волнуемый ветрами.

✦✦✦

После вечеринки

(ШУТКА)

При шумных звуках торжества,
В студенческой столовке
Кидал я пьяные слова,
Как будто поллитровки!

А утром вижу — мать моя! —
Печально свесив ножки,
Сидят на стуликах друзья
И допивают крошки.

Хотелось лица всем умыть,
Всех обласкать глазами,
Всех напоить и накормить,
И сдать за них экзамен!

И подарить за них духи
Девчонкам, если нужно,
И написать за них стихи,—
Учитесь только дружно!

Нам силы хватит лет на сто!
За всех — за нас и предков —
Еще мы выпьем! И на стол
Стакан поставим крепко!

На чужой гулянке

До последней темноты
Носимся, как танки!
Не вернемся — я и ты —
С этой погулянки!

Добрый гость, а не бандит,
Я — в дыму дурмана.
Но меня не пощадит
Ревность атамана!

Станут финками колоть,
Набегут бульдоги,—
Голова, как спелый плод,
Скатится под ноги!

Или просто — на снежок,
Болтанув ногами,
Тело рухнет, как мешок
С глупыми стихами!

В лагерях мои враги
Будут не впервые
Слезы лить, как батоги,
Длинные и злые!

До последней темноты
Вой гармошки!
Все ребята — как коты,
А девки — как кошки...

* * *

Вот возьму
И стану метким!
Или опрометчивым.
И однажды
В дом к соседке
Вдруг нагряну
Вечером!

Мол, давай-ка
Мы попроще
Рядышком сядем?

Мол, давай
Ты будешь тещей,
А я тебе
Зятем?
Загуляет под
Бандуру
Все село угрюмое...
Голова моя —
Не дура:
Что-нибудь да
Думает!

* * *

Бывало, вырядимся с шиком
В костюмы, в шляпы — и айда!
Любой красотке с гордым ликом
Смотреть на нас приятно, да!

Вина веселенький бочонок,
Как чудо, сразу окружен,
Мы пьем за ласковых девчонок,
А кто постарше, те — за жен!

Ах, сколько их в кустах и в дюнах,
У белых мраморных колонн,
Мужчин, взволнованных и юных,
А сколько женщин! Миллион!

У всех дворцов, у всех избушек
Кишит портовый праздный люд!
Гремит оркестр! Палят из пушек —
Дают над городом салют!

* * *

А. Романову

Романов понимающе глядит,
А мы коньяк заказываем с кофе,
И вертится планета и летит
К своей неотвратимой катастрофе...

С любовью
Н. Рубцов.

Золотой ключик

Шел первый год войны. Моя мать лежала в больнице. Старшая сестра, поднимаясь задолго до рассвета, целыми днями стояла в очередях за хлебом, а я после бомбежек с большим увлечением искал во дворе осколки и если находил, то гордился ими и хвастался. Часто я уходил в безлюдную глубину сада возле нашего дома, где полюбился мне один удивительно красивый алый цветок. Я трогал его, поливал и ухаживал за ним, всячески, как только умел. Об этом моем занятии знал только мой брат, который был на несколько лет старше меня. Однажды он пришел ко мне в сад и сказал: — Пойдем в кино. — Какое кино? — спросил я. — «Золотой ключик», — ответил он. — Пойдем, — сказал я. Мы посмотрели кино «Золотой ключик», в котором было так много интересного, и, счастливые, возвращались домой. Возле калитки нашего дома нас остановила соседка и сказала: «А ваша мама умерла». У нее на глазах показались слезы. Брат мой заплакал тоже и сказал мне, чтоб я шел домой. Я ничего не понял тогда, что такое случилось, но сердце мое содрогнулось. И теперь часто вспоминаю я то кино «Золотой ключик», тот аленький цветок и соседку, которая сказала: «А ваша мама умерла...».

Дикий лук

Давно это было. За Прилуцким мочастырем, на берегу реки собрались мы однажды все вместе: отец, мать, старшая сестра, брат и я, еще ничего не понимающий толком. День был яркий, солнечный и теплый. Всем было хорошо. Кто загорал, кто купался, а мы с братом на широком зеленом лугу возле реки искали в траве дикий лук и ели его. Неожиданно раздался крик: — Держите его! Держите его!.. И — тотчас я увидел, что мимо нас, тяжело дыша, не оглядываясь, бежит какой-то человек, а за ним бегут еще двое.

— Держите его!

Отец мой быстро выплыл из воды и, в чем был, тоже побежал за неизвестным. — Стой! — закричал он. — Стой! Стой! — Человек продолжал бежать. Тогда отец, хотя оружия у него никакого не было, крикнул вдруг: — Стой! Стрелять буду!— Неизвестный, по-прежнему не оглядываясь, прекратил бег и пошел медленным шагом... Все это поразило меня, и впервые на этой земле мне было не столько интересно, сколько тревожно и грустно. Но... давно это было.

О гениальности

Не только Россия богата талантами. Очень богата была поэтами Франция. Один из них, например, Верлен. Рембо еще был, Бодлер. Верлен совершенно почти ничего не написал. Но он написал одно прекрасное стихотворение, которое называется «Осенняя песня», которая, кстати, слабее моей. И его назвали гениальным поэтом. И еще один был гениальный поэт Рембо. Он написал всего-навсего восемнадцать стихотворений. И каждое из них гениальное. Всего-то книжечка маленькая. Брошюра.

Опять оставляю экскурс во французскую поэзию. Перехожу к русской. Тютчев. Он прожил долгую, такую прекрасную, плодотворную жизнь. Он за 72 года своей жизни написал всего двести стихотворений. И все шедевры. До одного. Шедевры лирические: «Есть в осени первоначальной», «Зима недаром злится», «Люблю грозу»... И несколько стихов политического содержания. Стихов очень сильных. У Тютчева даже политического содержания стихи полны смысла, силы мысли, поэтического могущества. И недаром Ленин, когда ездил, нередко брал с собой томик Тютчева. А вот один из наших современников, поэт политического момента, издал недавно книжку стихов в двадцать печатных листов, что редко когда-либо издавал какой-либо поэт настоящий. Но это были скромные поэты, а этот никогда не был скромным, бог его обидел... скромностью. Его стихи совершенно не идут в сравнение с теми, которые написал Тютчев на политические темы, которые живы и сейчас.

Вот и гениальность. Я ведь не говорю, что гением может быть только поэт. Каждый человек должен делать свое дело. Быть мастером в своем деле.

Моя библия

«Евгения Онегина» я считаю своей библией. Писарев разгромил Пушкина. Он написал: «Вот мы говорим: Байрон, Гете, Данте. Пушкин не только не может вставить слово в разговор этих важных господ, но он даже не сможет понять, о чем беседуют эти великие господа». После этого тридцать лет было молчание вокруг имени Пушкина, даже после выступления Достоевского на открытии памятника Пушкину в 1880 году.

И что же? К Пушкину приходят все великие мира сего, все культурные люди, чтобы поклониться этому гению русской культуры.

А что Писарев?..

Стихи и заметки Николая Рубцова

Сегодняшняя публикация неизвестных и малоизвестных произведений Николая Михайловича Рубцова (1936 — 1971) как бы продолжает две другие крупные посмертные публикации поэта. Я имею в виду «Суровый берег» (подборка опубликована ровно десять лет назад — «Наш современник», 1981, № 12) и мою публикацию под заголовком «Эх, Русь, Россия!..» в журнале «Волга» — 1988, № 11.

Кроме того, некоторые стихи Рубцова были впервые опубликованы в последнее время в альманахах, тонких журналах, или прямо попадали в книги «избранных» произведений поэта. Слово «избранных» беру в кавычки, потому что в эти сборники входили почти все известные на то время стихи, кроме вариантов.

Можно сказать, что сейчас, спустя 20 лет после смерти выдающегося поэта, опубликовано почти всё его творческое наследие. Дополнения возможны только в жанре эпистолярном и, может быть, в художественной прозе. Во всяком случае, мне удалось разыскать один след — две страницы из прозаической повести, которая, похоже, принадлежит перу Николая Рубцова.

О содержании журнальных публикаций «Суровый берег» и «Эх, Русь, Россия!..» говорят уже сами их названия. В первой — ранние «моряцкие» стихи. Во второй — упор сделан на стихи о больной родине, стихи, в которых более-менее открыто выражена общественная позиция поэта. Рядом с неизвестными ранее стихотворениями в «Волге» были опубликованы и некоторые варианты известных. Например, вариант стихотворения «Загородил мою дорогу...» Вот его финальная часть:

Давно в гробу цари и боги!
И дело в том — наверняка, —
что с треском нынче демагоги
летят из Главков и ЦэКа!

Эти строки ждали публикации почти 25 лет! И опять оказались актуальными...

Предлагаю вниманию читателей еще несколько стихотворений и заметок Рубцова. Часть из них публикуется впервые (они приведены здесь по архиву поэта в Вологде и по машинописному сборнику «Волны и скалы» 1962 года), часть публиковалась только в вологодских газетах и широкому читателю не известна. Публикуемые стихи, в основном ранние, оказались «забытыми» по двум причинам: из-за некоторых вольностей в их содержании и потому, что сам поэт мог считать их не вполне совершенными.

Но мне уже трудно представить, например, что я мог не знать отличного стихотворения «На чужой гулянке».

До последней темноты
Носимся, как танки!
Не вернемся — я и ты —
С этой погулянки!..

Тут интересная смесь молодежного жаргона («как танки») и народной речи («погулянка»). Великолепный, подслушанный в живом разговоре юмор — «Слезы лить, как батоги, длинные и злые!..» В середине стихотворения Рубцов открыто перекликается с Есениным: «Голова, как спелый плод, скатится под ноги!..» А в конце автор находит свежую интонацию — вроде бы и фольклорную, но и по-современному отрывистую:

До последней темноты
Вой гармошки!
Все ребята — как коты,
А девки — как кошки...

А вообще-то публикуемые сегодня стихи не нуждаются в особом и подробном комментарии. О прозе же надо сказать хотя бы коротко. Заметки «Золотой ключик» и «Дикий лук» написаны поэтом в последние годы жизни, а опубликованы в газете «Красный Север» сравнительно недавно. Тексты «О гениальности» и «Моя библия» могут вызвать вопросы и возражения. Но это, собственно говоря, магнитофонные записи, они отрывочны и взяты из общей беседы. Записи были сделаны в 1970 году, а впервые опубликованы в 1986 году (газета «Вологодский комсомолец», публикация А. Шилова). Если бы Рубцов мог, то многое бы, видимо, уточнил в этих устных высказываниях. Поэтому любое толкование названных текстов предполагает осторожность и доброжелательность.

Публикуемые стихи Николая Рубцова показывают между прочим, как рано проявился в нем мастер. Показывают истоки одной из самых ярких поэтических судеб нашего века.

Вячеслав БЕЛКОВ.
г. Вологда



80 коп.

157-21

ИНДЕКС 73274

Наш современник, 1990, № 12, 1–192.